



Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ
с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 9

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРОЗА

Елизавета КАСУМОВА. <i>Медленный танец под Сальваторе Адамо.</i>	11
<i>Рассказ</i>	
Михаил СМИРНОВ. <i>Рассказы</i>	43
Ляман БАГИРОВА. <i>Новеллы</i>	75
Моисей БОРОДА. <i>Слон и Моська. Рассказ</i>	104
Алексей САПРЫКИН. <i>Бывает... Рассказ</i>	114
Тамирлан БАДАЛОВ. <i>Вега по-нашему – Бесхвостая. Рассказ</i>	118
ZAUR. <i>Однажды в Риме. Альтернативная история</i>	131

ПОЭЗИЯ

Ибрагим ИМАМАЛИЕВ. <i>Стихи</i>	3
Елизавета КАСУМОВА. <i>Стихи</i>	4
Геннадий САЛАЕВ. <i>Стихи</i>	5
Инесса ЛОВКОВА. <i>Стихи</i>	6
Владимир ЗАРУБИН. <i>Стихи</i>	23
Ильхам ГАХРАМАНЛЫ. <i>Стихи</i>	38
Ольга КАЧАНОВА. <i>Стихи</i>	112
Ян БРУШТЕЙН. <i>Стихи</i>	124
Тофик АГАЕВ. <i>Стихи</i>	129

ПУБЛИЦИСТИКА

Вафа ГАДЖИЕВА. <i>Коран, коранические сказания...</i>	28
<i>Памяти Мауса Гаджиева</i>	71
Алина ТАЛЫБОВА. <i>О братьях меньших</i>	101
Марат ШАФИЕВ. <i>Размышления о поэме Физули...</i>	126

2017

Главный редактор	– Солмаз ИБРАГИМОВА
Зам.главного редактора	– Елизавета КАСУМОВА
Ответственный секретарь	– Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ
Отдел прозы	– Надир АГАСИЕВ
Отдел поэзии	– Алина ТАЛЫБОВА
Отдел публицистики	– Ровшэн КАФАРОВ
Отдел подписки и рекламы	– Джамия ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49
Литсотрудники	– Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА
Компьютерная верстка	– Натаван ХАЛИЛОВА
Корректор	– Анна КУЗЁМКИНА
Редакционная коллегия:	<i>Почетный акакал «Л.А.» Сияуш МАМЕДЗАДЕ, Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелала ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ</i>
Литконсультант	– Натиг РАСУЛЗАДЕ

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве
печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:

AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53

Электронный адрес: litaz1931@gmail.com

Тел: 493-86-04

Сдано в печать 22.08.2017г.

Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16

Печать офсетная, 8.25 печ. л.

Тираж 400

Отпечатано в типографии «OL»НКРТ ММС

Тел.: 497-36-23

Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

***Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Ранее опубликованные произведения редакцией
не рассматриваются.***

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию «OL»НКРТ ММС

© «Литературный Азербайджан», 2017 г.

ИБРАГИМ ИМАМАЛИЕВ

Монолог

Мансуру Векилову

**В сражениях меж чувствами и разумом
Всегда в итоге побеждает чувство...
Нас создавали всех такими разными,
И душу в теле спрятали искусно.**

**Душа – она такая беззащитная,
Ее словами так легко поранить.
И торжествует злоба ненасытная,
Людей доводит до последней грани.**

**Не обижайте ближнего нечаянно,
Не оскверняйте храм словами злобными!
Когда-нибудь придет пора отчаянья –
Вас Совесть призовет на место лобное.**

**Застроив все комфортными острогами,
Мы бьемся в нами сотканных тенётах.
Как мумию, забинтовав дорогами
Живое тело собственной планеты.**

**Нет в этом мире ничего случайного,
Все происходит от себе подобного.
Но в день, когда придет пора прощания,
Всем предстоит взойти на место лобное.**

**Бог не простит, и я не знаю способа,
Как справиться с грядущею бедою.
Жизнь на Земле была
мечтою Господа.
И что мы сделали с его мечтою?!**

**Не знаем мы свое предназначение,
И оттого о суетном мечтаем.
Нам небеса шлют грозные знамения,
А мы как будто их не замечаем...**

**Всех ожидает вечное безмолвие –
Чужие в этом мире беспокойном,
Жизнь наша коротка
как вспышка молнии...
Давайте проживем ее достойно!..**

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАНСУР!

У меня плохо с памятью на цифры. Они совершенно не держатся в моей голове. Поэтому все важные для меня даты я записываю в специальный блокнотик-памятку. В частности, я заносу в него даты рождения знакомых и близких мне людей. И все равно грешу тем, что не всегда вовремя поздравляю их, потому что забываю заглянуть в свою «шпаргалку». Но есть даты, которые даже в моей, так не дружащей с цифрами и числами голове, засели крепко-накрепко. Это дни рождения самых важных в моей жизни людей. Одна из таких дат – 7 сентября. День рождения Мансура. Эту дату помнят все, кто знал его и любил – а любили его все, кто знал. В редакции журнала «Литературный Азербайджан», который он долгие годы возглавлял, эту дату не только помнят, но и обязательно отмечают застольем, которые Мансур так любил. Это ничего, что его нет. Он все равно – есть. Все равно – с нами. Вот и в этом году в этот день мы будем сидеть за накрытым столом, вести долгие беседы, спорить до хрипоты, ощущая его присутствие и его молчаливое участие. Мы будем вспоминать истории, связанные с ним, нам будет грустно, но не очень, потому что это – день рождения его, Мансура – светлая дата. И я прочту написанное специально к этому его – 78-му дню рождения – стихотворение. Он будет слушать, глядя на меня с портрета, и мне покажется, что в какой-то момент он улыбнется – хочется верить, одобрительно. А посвященное ему стихотворение – вот оно.

**Ты ушел, канул в вечность,
Скрылся в звездном орнаменте.
Говорят, время лечит,
Все стирая из памяти.**

**Это, видимо, правда.
Только ты – не стираешься.
В кабинете редактора
Твой портрет улыбается.**

**И мерцает лукаво
Синь гёй-гёльная глаз.
Вот мы – слева направо –
И Надир, и Солмаз,**

**Натаван и Егяна,
И Ровшэн, и Эльдар,
Вновь сдвигаем стаканы –
Как тогда, как тогда.**

**Нам противны халтура,
Фраз пустых мишура.
Мы – команда Мансура,
Работяги пера.**

**Пусть наш парусник мчится
Рифам всем вопреки.
С днем рождения, Рыцарь
Вдохновенной строки.**

Елизавета Касумова

ГЕННАДИЙ САЛАЕВ

Альбом

Уходим все мы, чтобы поселиться
В альбоме среди старых фотографий,
Где все смешалось: времена и лица,
А даты – словно строчки эпитафий.

Что есть альбом сей? Это Зазеркалье,
Былых страстей чуть видимые тени,
Следы минут, которые, мелькая,
Стремились в ночь невидимой капелью...

Нет суеты среди страниц альбома,
Завядших, пожелтевших от печали.
Не слышно больше стрелки метронома –
Она, увы, уставши, отзвучала.

Покинуть бы альбом – хотя б на год,
Чтобы вновь увидеть юный небосвод...

Свеча

Тает свеча, догорает...
Тает неслышно, незримо.
Тает, ветрами гонима,
Птиц перелетная стая.

Солнце куда-то пропало...
В ночь погружается вечер,
В бархат ее покрывала...
Звезд полуночные свечи

Ветер секунд задувает,
Искры заветных желаний
В пламени свечи мерцают –
Памяти тусклые грани.

Вот лишь огарок остался,
Эхо курлычущей стаи...
Память протуберанцем
Огненным в небо взлетает...

ИНЕССА ЛОВКОВА

Vana Tallinn

Когда-то ездили в Таллин,
Бродили по Vana Tallinn
И пили Vana Tallinn.
Уже всплывали детали,
Которых не оглашали,
Но заносили в скрижали.

Плутала, путалась живость
Разноязыкого говора,
Переплетались, кружились
Улицы Старого города

И устремлялись, как стрелы,
К цели, без всякой оплошности –
Площадь брусчаткой серела
И умиляла киношностью.

Должно быть, жутко усталый,
Но спину державший по штилю,
По-флюгерски Томас Старый
Крутился на ратушном шпиле.

Готического полёта
Дома, и жива та аптека,
Что помнит, кто тут работал,
Строил её в *темном* веке.

Содружеством ярких азалий
Встречал нас улыбочиво Таллин,
И это запало надёжно,
А позже пропало... возможно,
В содружестве с зарубежьем,
«Советским», отныне смежным,
В тандеме с киношной былью...
Мы там при Советах были.

* * *

Защищал плющ столетний
От лихой непогоды скалу,
Нежил и обольщал...
Но не зимы, не осень, не лето
Обрекали на смерть глыбу ту –
Плющ её разрушал.

*** * ***

Древней Греции боги
Выглядят топ-моделями –
Стройные и красивые,
Хитрыми и спесивыми
Были и их подельники –
Было всех слишком много.
В виталище небожителей
Ловко интриги плели,
Битвы умов затевали,
Боги неукоснительно,
Множа людские печали,
Что почитали забавой,
Зоркую вахту несли...
Может, они были правы,
Не дав человеку крылья,
Но не лишив химер?..
Известно, богов скроили
Люди на свой манер.

День защиты

В день перволетний раз в году
Резвятся дети под Защитой,
А утки крикают в пруду
Во славу праздной жизни сытой.

Конечно, это не всерьёз –
Защита видится как праздник,
И лишь раз в год для детских слёз
Нет вроде поводов суразных.

И те же утки в том пруду
Защищены во все сезоны,
Никто в горячечном бреду
Не сочинит *их день* – резонно.

В какой-то день, в какой-то час,
В какой-то год необратимый
Защита введена в указ
И стала праздником единым.

Без транспарантов, без затей
Прижился праздник тихо-мирно,
Но взгляд обласканных детей
Не разойдётся под копирку.

Плюс с минусом соотнося,
Уверена, без самомнения:
Символика беспутна вся,
Когда Защита под сомнением.

Направлялся – куда? – прохожий,
Срезал улицу наискоски,
На ходу продавая дрожжи, –
Как от холода, как от тоски.

Я себя на евоном месте
Приняла – то не перст судьбы,
От тоски затынуть бы песню,
Вариантов тьма – от знобы.

И маршрутом едва знакомым
Пресекаю километраж...
Так пускаются прочь от дома –
То ли прихоть, то ли кураж?..

Устремляюсь и устремляю
Взгляд в пространство наискосок,
Тут игривая аура мая
Отменяет грустный пролог.

Вскользь задуманную интригу
Оживит озорной зигзаг,
И пройду по сюжету мигом,
Тоже вскользь, отвлечённо так.

Июль

Приносит пыльный ветер духоту,
Прессуя воздух до изнеможенья,
И тысячи песчинок на лету
Горазды на пассивное движенье.

Они летят и вместе, и порбзнь
В попытке закрутить вихреобразно
Растрёпанный букет увядших роз,
Светлеющий необъяснимо праздно,

На всё, что попадётся на пути,
Налечь тяжёлой массою песчаной,
Тем интерес свой частный соблюсти
И извести след даже розы чайной.

Песчинки не плывут под томный блюз,
Не заражаются порывом танца,
Совсем не романтический союз –
У ветра на подхвате подвизаться.

Прибившись к разгулявшейся воде,
Песчинки канут – будто не бывало,
Сойдёт на нет и бездыханный день,
Сдав караул июльской ночи вялой.

Я лету верю без оглядки

**Я лету верю без оглядки,
Его приметам и повадкам,
Пока несмелые признанья
Его меняют очертанья
Того, что тут, недалеко,
Мы, распахнувшись, налегке,
Совсем, никак не льстим природе,
Мы с нею просто заодно,
Природный позитив в народе
Тут, безусловно, верх берёт,
Прогулки в вечер под луной –
Кто – парами, а кто – гурьбой –
Почти слияние с пейзажем,
Но первым понял нищевод,
Что город летней жизнью зажил.
Уходят в море катера,
Чтоб через полчаса вернуться,
Они весь день, аж до темна,
Творят вояж замерно-куцый,
Маршрут прогулочным зовут,
Но рассекает катерок
Морскую толщу по работе,
Её он знает назубок,
Он служит на Каспийском флоте –
Который год уж на плаву.
Спалил по глупости закат
Морской задумчивый пейзаж,
Сев на любимого конька,
Мамаши верещат о детях,
Об этой грозной силе летней,
Берущей мир на абордаж.
Наверно, повторяюсь про то,
Что ввек не сбросить со счетов:
Стандартный перечень дворов –
Галдёж, шушуканье и сплетни...
Да, обязательно про то,
Что зажил город жизнью летней.**

**Зазвучала гитара,
Задрожали струны –
Забывтый мотив старый,
Исполнитель юный.**

**Страстно он струны мучил,
Вовсе не напрасно –
Так сложилось созвучье
Поколений разных.**

Три стадии

На постели и сон, и бессонница,
Полудрёма закралась меж них,
Я – трёх стадий прямая пособница –
Вовлекаюсь в условный триптих.

Ночь не любит затеи грошовые,
В красках строгий, умеренный шик –
Синева серебром растушёвана,
Их мотив быть единством велик.

В полнолуние звёздно-завидное
У бессонницы повод вполне
Быть затеей совсем не постыдною,
Бодрой быть, с утром быть наравне.

И тогда, оттолкнувшись от прошлого,
Разумею, скорее, чутьём:
В объективе мелькнёт среди прочего,
Что забыть постаралась потом.

Некомфортно и необольстительно –
Мне никак между явью и сном –
Пограничье – оно на любителя,
Как всё то, что неясно и днём.

Но, озвученный биопотребностью,
Сон высокие ноты возьмёт,
Чтоб во всякого рода нелепости
Унести, как в свободный полёт.

И фантазии в духе мистерии,
Отшумевши, быльём порастут...
Сон – проверенный в деле поверенный,
Ночь и сон – тишина и уют.

Свет не спрашивает у тьмы,
Можно ль ему войти
И её погасить...
Он светит во тьме –
Нужно свечу внести,
И расступится тьма –
Места ей нет
Там, где свет.

ЕЛИЗАВЕТА КАСУМОВА

МЕДЛЕННЫЙ ТАНЕЦ ПОД САЛЬВАТОРЕ АДАМО

Рассказ

Накинув куртку, Лара вышла из дому, добрела до автобусной остановки и села в первый подъехавший автобус, даже не взглянув на его номер. Ей все равно было, по какому маршруту он ее повезет. Она нередко так вот каталась по городу, усевшись на переднее, одиночное, сиденье, вглядывалась в знакомые или незнакомые улицы. Ей казалось, что она путешествует по другому городу, другому миру, потому что даже улицы, хоженные перехоженными ею, из окна плавно движущегося автобуса казались не такими, как всегда, увиденными заново...

Было ясное солнечное утро, листва вымытых недавно прошедшим коротким дождем деревьев, проплывавших за окном автобуса, глянцево светилась в лучах нежаркого весеннего солнца. Упирающиеся в небо новостройки, плотно заселившие их город в последние годы, радовали ее меньше, казались ей агрессивными, опасными, готовыми поглотить, раздавить все, что было вокруг. Гораздо милее сердцу были старые добрые «хрущевки» – в одной из таких прошло ее детство...

Оказавшись в районе пятиэтажек старой постройки, Лара вышла из автобуса и ощутила исходящий от них покой, влилась в царивший здесь неторопливый ритм жизни с бродившими по дворам голубями и кошками, сидящими на лавочках старушками, покосившимися деревянными беседками, в которых гомонили дети...

Внезапно небо потемнело, налетел ветер, улицы мгновенно опустели, и повалил снег. Он не падал медленно и плавно, кружась и оседая на асфальт, а стремительно летел к земле по прямой, как падает вода в дождь, белые линии заштриховали все вокруг. Лара ощутила, что ее трясет от холода, пробравшегося под распахнутую куртку. Ветер, ударивший в лицо, сорвал с нее легкую ветровку, и она обнаружила, что под курткой на ней ничего нет. Она торопливо шла вперед, борясь с порывами ветра и пытаясь застегнуть ветровку, но смогла только натянуть ее на плечи и запахнуть полы руками. Но ей все равно было страшно холодно, тело немело, теряло чувствительность, и она понимала, что надо надеть куртку как следует, вдеть руки в рукава и застегнуть молнию, но боялась разжать руки, стягивавшие полы ветровки, чтобы они не распахнулись...

Вдруг впереди, за белой снежной завесой, она разглядела темный мужской силуэт, чем-то смутно ей знакомый, и услышала откуда-то очень издалека тихую, едва различимую мелодию, которая тоже была ей знакома. Но она никак не могла вспомнить, что это за мужчина и что за мелодия, не могла их узнать, хотя и очень старалась. Темный силуэт не двигался, но не становился ближе, хотя она и шла прямо на него. В какой-то момент силуэт стал удаляться от нее и вскоре скрылся из виду. Она успела разглядеть прощальный взмах руки и больше уже ничего, кроме белых нитей, привязавших темное хмурое небо к земле, не видела...

...Она проснулась сразу, будто от толчка. Подумала с облегчением: «Так это сон?», и сразу вспомнила его – он ей уже снился. Ну да, пару лет назад... И – еще до этого... Сны ей снились редко, и обычно к утру она их не помнила. Этот же отложился в памяти в деталях. И сейчас он повторился... К чему бы это? – подумалось ей. Да просто так, ни к чему, – успокоила она себя. Она не верила в сны и никогда не пыталась их разгадать. Снисходительно смотрела на коллег-подружек, с утра терзавших хранившийся в их рабочем шкафу измученный постоянно листавшим его женским любопытством Сонник.

Гадать, что бы мог значить этот сон, она тоже не собиралась. «Ерунда все это», – сказала она себе и отправилась варить утренний кофе – через полтора часа ей нужно было появиться на работе. О «снежном» сне она больше не вспоминала...

Прошло две недели. Совершив после работы очередную автобусную экскурсию по городу, она шла через темный уже двор. Подходя к блоку, вдруг услышала, как ее позвали по имени. Обернувшись, увидела – с одной из скамеек, стоявших одна против другой по обеим сторонам грубо сколоченного деревянного стола, за которым по вечерам жители их дома играли в домино, яростно стуча костяшками по столу и периодически торжествуя выкрикивая: «Рыба!», поднялся невысокий плотный мужчина примерно ее возраста. Мужчина молчал, но она почему-то неуверенно пошла к нему, вглядываясь в белеющее в сумерках лицо и не узнавая.

– Добрый вечер, – сказал мужчина и вновь опустился на скамейку.

– Добрый, – ответила она и последовала его примеру, сев напротив. Они сидели молча, вглядываясь друг в друга. Его лицо ни о чем ей не говорило – она не знала этого человека. Наконец он заговорил:

– Не узнаешь? Не можешь вспомнить?

Она отрицательно покачала головой.

– А Руслана помнишь?

В голове у нее словно пронеслась молния, высветив самые дальние уголки памяти.

– Марат? – неуверенно выговорила она.

– Помнишь, значит, Руслана, – взгляд его чуточку потеплел.

– Как он? – вежливо спросила она.

– Никак, – ответил Марат. – Умер.

– Правда? Отчего?

– И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь, – зло продекларировал Марат есенинские строчки. – Ни один мускул не дрогнул на ее лице.

Помолчав немного, сказал:

– Отчего помер, говоришь? Оттого, что несчастный был.

Лара вопросительно взглянула на него.

– Отчего был несчастный, хочешь спросить? А сама не знаешь?

– Мы не виделись около тридцати лет, и почти все это время он жил в другом городе, далеко от нашего. Теперь уже даже в другом государстве. Откуда же мне знать?

– А он о тебе знал все. Ну, в общих чертах, конечно. Интересовался.

– Откуда он мог знать...

– В Баку остались друзья, знакомые, – не дав ей договорить, заявил Марат. – Общались. Сам приезжал. Видел тебя.

Она удивленно взглянула на него.

– Ну да, к тебе не подходил. Любовался издали, – голос его звучал враждебно.

– Хотя – было бы чем.

– Было, наверное, – с вызовом бросила она, – раз любовался.

– Не знаю, мне этого не понять, – сказал Марат. И тут же спросил: – Знаешь, как я тебя называл?

– Доска и два соска, – быстро ответила она.

– Откуда знаешь? – и улыбнулся довольнo: – Он говорил?

Она кивнула.

– Не обижалась?

– На больных, как ты знаешь...

– Но ты и вправду была тощая и плоская, – он внимательно оглядел ее, сказал:

– Сейчас – лучше.

– Расплылась...

– Округлилась. На женщину стала похожа, не на пацана...

Помолчав, она спросила:

– Отчего он умер? Возраст ведь не тот еще, чтобы...

– Инфаркт, – ответил Марат. – Третий. Первый был семь лет назад. Второй – в позапрошлом году. Два года прошло. Две недели назад – третий, последний.

Помолчав, заговорил снова:

– Три инфаркта у него было. Три жены было. Три дочери... А любил всегда одну женщину. А она его – нет. Дрянная баба попалась. Оттого и несчастный был... Знаешь ее?

– Нет, – искренне ответила она.

Он внимательно посмотрел на нее.

– И не догадываешься? В зеркало взгляни. Чего тарачишься? Ты, ты эта баба.

– Чушь какая-то, – растерянно проговорила она. – Тридцать лет ведь не виделись...

– И все тридцать лет я от него слышал: «Ах, Лара! Ох, Лара!» Дочку первую твоим именем назвал... Я ведь потом в тот же город перебрался, что и он. До конца с ним был...

– Не знаю, – с сомнением протянула она. – Мне трудно представить, чтобы столько лет... Трудно понять. Выдумал он все!

– Где уж тебе понять такое, – презрительно протянул Марат. – Правда, и мне понять трудно.

– Вот видишь!

– Чего – видишь? Трудно понять, что женщиной этой, на которой он помещался, ты стала. Если б другая – может, понял бы. А так... Я бы, например, никогда с такой...

– Да и я бы с таким, как ты, – ни за что. Ладно, – не дав ему ответить, сухо сказала она, – обмен любезностями закончен. Физкультпривет, – и поднялась со скамейки.

– Извини, – сказал Марат. – Он ведь другом мне был. Лучшим. Очень я зол на тебя. – И повторил: – Извини. Сядь, прошу. Я ведь чего приехал, чего здесь тебя весь вечер прождал? Поручение у меня к тебе есть. Его последняя воля.

Вытащив из кармана свернутый носовой платок, он извлек из него два обручальных кольца и протянул ей. – Возьми, тебе передал.

– Зачем это? – отшатнулась от него она.

– Возьми, – повторил Марат. – Одно – твое, другое – его. Он ведь предложение тебе хотел сделать, кольца купил. А ты с ним вот так вот... Он их потом всю жизнь носил, свое – на безымянном пальце, твое – на мизинце. Я вообще-то с тобой согласен. Странно все это. Но так все и было, я свидетель... Он мне кольца эти еще после первого инфаркта передал, наказал: если не выкарабкается, чтоб они у тебя были. Возьми.

– Зачем это? – испуганно повторила она. – Не возьму.

– Испугалась? – усмехнулся он. – Не бойся, это тебя ни к чему не обязывает.

– Я не боюсь... просто – ни к чему это.

– Куда ж я их дену?

– Себе оставь.

– Нельзя.

– Дочкам его отдай.

– Нельзя, – повторил Марат. – Руслан сказал – тебе.

– Не возьму! – она решительно поднялась со скамейки и двинулась к подъезду.

– Ну и черт с тобой! – бросил ей в спину Марат. – Пусть валяются. Он просил отдать – я отдал, дальше – не мое дело.

Она вошла в подъезд, так и не обернувшись. Оказавшись в квартире, не выдержала, выглянула в окно, из которого были видны стол и скамейка, на которой они только что сидели. На столе белел платок, и в нем что-то слабо поблескивало в тихом лунном свете. Или ей это лишь показалось?

«Ну и пусть! Пусть лежат», – подумалось ей, но что-то заставило ее, чертыхнувшись, выйти из квартиры. Кольца лежали на столе. Она сгребла их со стола вместе с носовым платком и сунула в карман юбки...

...Кольца лежали на скатерти, прижавшись друг к другу боками – одно поменьше, другое – побольше. Простые, гладкие обручи без «наворотов» – не такие, какими обмениваются сейчас жених с невестой. А тогда, во времена ее молодости, у всех были такие. Внутри колец стояла проба – золотые, значит... впрочем, какая разница...

Спихватилась вдруг – сын вернется из командировки, увидит, спросит – откуда кольца? Рассказать, как есть – не поверит, больно уж история невероятная, надо убрать их куда-нибудь, спрятать... или – вернуть. Вернуть – кому?..

Она не заметила, как уснула. Ей снова приснился тот ее сон, но теперь она узнала мужчину, который ей снился – Ларе показалось, что он улыбнулся ей краешками губ... И мелодию, которую прежде никак не могла вспомнить, тоже узнала...

...В окно било солнце – значит, утро. Она поднялась с дивана, поняла, что уснула одетая, вспомнила сон, который вновь ей приснился – приснился вторую ночь подряд, не так, как раньше, с промежутками в несколько лет... Да, а до него был еще один сон: какой-то мужчина – не тот, не из «снежного» сна – протягивал ей обручальные кольца...

Лара побрела в ванную, наскоро умылась, размышляя, что бы ей приготовить себе на завтрак. Есть не хотелось. Выпив кружку вишневого компота, она вернулась в гостиную и оторопела – на столе лежали два обручальных кольца... тех самых, из сна – то есть, выходит, не из сна... значит... значит, все эти странные события произошли с ней на самом деле...

Она села на диван и, не сводя глаз с колец, начала вспоминать подробности вчерашнего вечера. Да, странно, невероятно... человек из давнего-давнего прошлого,

с которым она была едва знакома, передает ей золотые обручальные кольца, сообщает, что эти кольца – ее и того, с кем ее в том же давнем-давнем прошлом связывала, в общем-то, недолгая полудетская романтическая история, что он носил эти кольца всю свою жизнь, а теперь, когда его больше нет, кольца должны быть у нее! «Не понимаю, – пробормотала она. – Как такое может быть?.. Розыгрыш? Но зачем? Через столько лет? Да там и было-то всего...» Да она ничего давно уже и не помнит...

Но это было не так. Как оказалось. Просто она не хотела помнить, не считала нужным, и – не помнила. Теперь же память услужливо пересказывала ей эту историю с самого начала...

Впервые он появился у них во дворе, когда Ларе было лет двенадцать. Она, как и большинство ее сверстников, была «дворовым» ребенком, росла во дворе – дворы в те времена были для этого вполне пригодны. К примеру, в их дворе имелась специально оборудованная баскетбольно-волейбольно-футбольная площадка, беседки с лавочками и даже бассейн с фонтаном – действующим. Все это дети активно использовали в своих играх. Так же, как и деревья, на которые они лазали. А сколько было других забав – лапта, классики, альчики, коллективное прыганье через скакалку – когда двое вертят веревку, а третий через нее прыгает. Именно этой игрой они были заняты, когда к ним подошел паренек на пару лет постарше Лары. Он был новеньким в их дворе, обитатели которого были наслышаны о том, что в один из домов въехала новая семья: белокурая женщина с двумя сыновьями – видимо, одним из них и был этот мальчик.

Он назвался Русланом и попросил принять его в игру. Мальчик был, что называется, красавчик – волнистые светлые волосы, яркие голубые глаза на загорелом лице. Одет он был не так, как все мальчишки в их дворе, носившиеся вокруг бассейна с фонтаном в застиранных ситцевых рубашках и потрепанных в непрерывном лазанье по деревьям штанах. Мальчик был просто франтом – начищенные остроносые туфли, наглаженные брюки и – что было совсем уж непривычно по тем временам – черная сорочка, выгодно оттенявшая его светлые волосы. Понятно, что игравшие в скакалочку девчонки – игра-то была девчоночья – сразу же «поплыли», и хотя решающее слово принадлежало Ларе – скакалка была ее – наперебой запищали, что, конечно же, да, он принят в игру, и даже дружно пропустили его вперед – дескать, прыгай первым, без очереди. Все это очень не понравилось Ларе – и этот красавчик в одежке с иголочки, и то, что не пошел играть с мальчишками, а пристроился к девчонкам, а больше всего то, что девчонки просто таяли, глядя на него, и ему это, похоже, очень нравилось.

– А штаны не порвешь? – бросила она ему.

– Если и порву, ничего страшного, – обезоруживающе улыбнулся он.

– Без очереди нельзя, – не унималась она, – становись в очередь! Ты – последний.

Девчонки протестующее заверещали – дескать, мы все ему уступаем, пусть прыгает.

– Не будет прыгать! – твердо сказала Лара, вырвав скакалку – вернее, просто длинную веревку – из рук держащих ее девчонок и, свернув ее, твердой поступью удалилась. Дома, подойдя к раскрытому окну, она услышала, как девчонки возмущенно объясняли красавчику:

– Да она вообще вредная, подумаешь, забрала свою скакалку! Давай в мячик играть, а она пусть дома сидит, вредина!..

Со временем он перестал отличаться от других дворовых мальчишек, «вписался» в их компанию – одевался, как и они, играл в те же игры и с ними, а не с девчонками, то есть стал обычным членом их ребячьего сообщества, на которого никто не обращал особого внимания.

Шли годы, они росли, во дворе появлялись реже – в старших классах школьная программа посложнее, нужно было учиться, думать о будущем. Но наступало лето, и все вновь высыпали во двор, покидая его только поздно вечером, когда то из одного, то из другого окна начинало раздаваться:

– Алик, домой!

– Ира, сколько можно гулять?!

– Зема, уже ночь, за косу тебя привести?

Так прошло несколько лет. Сверстники Лары вытянулись, повзрослели, кто-то за кем-то во дворе ухаживал, кто-то кому-то симпатизировал тайно, впрочем, тайну эту знали все. Наступило очередное лето. Ларе исполнилось пятнадцать. Жаркими вечерами все высыпали во двор. Взрослые сидели на лавочке возле дома, молодежь обреталась в беседке. Говорили о модных тогда певцах – Кареле Готте, Джордже Марьяновиче, о новых пластинках с их записями, шутили, смеялись, флиртовали. Над беседкой витали купидоны с заряженными в луки стрелами, появилось новое увлечение – пение под гитару. Лара во всем этом почти не принимала участия, в беседку заходила нечасто, пока однажды не услышала, как поет, аккомпанируя себе на гитаре, Руслан. По вечерам в беседке все ждали только его. Он приходил позже остальных, усаживался прямо на стол в центре беседки и брал первые аккорды. Конечно же, он не был музыкантом-виртуозом, а был просто самоучкой, но гитара в его руках оживала и, выпевая под его пальцами немудреные мелодии, будто чувствовала каждую из них. А когда Руслан подхватывал мелодию, начинал негромко напевать текст, все сидели, притихнув, боясь пропустить хотя бы звук или слово – во всяком случае, с Ларой все происходило именно так. Она погружалась в мелодию и голос, которые, словно волны, смыкались над ней, а она и не пыталась выбраться, а просто наслаждалась простыми, но такими чудесными звуками. Вообще ей казалось тогда, впрочем, кажется и сейчас, что гитара – один из самых романтических, душевных и чувственных инструментов, ее звуки способны добираться до самых дальних уголков души, наполняя ее тоской и томлением.

Марат бывал в беседке не каждый день, но если появлялся, туда же неведомая сила приводила и Лару. Она садилась на краешек скамейки, стараясь оставаться незамеченной, и с нетерпением ждала, когда волшебная волна звуков вновь накроет ее с головой.

В июле Руслан исчез. Через какое-то время она узнала, что он уехал в летний лагерь пионервожатым – в этом году он уже окончил школу. «И сам отдохнет, и деньжат заработает, матери поможет», – говорил его дружок Васька. На самом деле его звали Васифом, но с легкой руки его родителей, тети Фиры и дяди Музаффара, которые почему-то именно так называли своего сына, все во дворе стали называть его так же.

Первое время Ларе очень не хватало песен Руслана, его голоса, его гитары, но лето одаривало массой других радостей – волейбол, пляж, интересные книжки...

А потом пришел сентябрь, Лара погрузилась в школьные будни, в учебу, общение со школьными друзьями. Вечера проводила за учебниками, за книжками, из дворовых виделась только со своей закадычной подружкой Наткой, и что происходит

во дворе, не знала. Руслана видела изредка, мельком. Они здоровались, обменивались парой дежурных фраз, и каждый шел по своим делам.

Но вот снова наступило лето. Весной Лара отметила свое 16-летие, получила паспорт. Возобновились посиделки во дворе – с веселыми анекдотами, пением под гитару, незатейливым флиртом. Впрочем, уже были и сложившиеся пары, которые, не скрываясь, ходили в обнимку или взявшись за руки, целовались, говорили о любви... То ли пример других сыграл свою роль, то ли наполненный теплой летней истомой воздух, то ли в ней самой что-то произошло, но Лара, которую прежде совсем не интересовали все эти дела – мальчишки, ахи-вздохи, треп про любовь, вдруг стала ловить себя на мысли, что все чаще думает о Руслане. Ей казалось, что и он тянется взглядом к ней во время их «посиделок», старается сесть к ней поближе, однако предпринять что-либо не решается – она слыла во дворе недотрогой. Впрочем, возможно, ей все это лишь казалось...

Дать понять ему или, тем более, кому-то еще, пусть даже самой близкой подруге, что Руслан ей нравится, Ларе никогда не позволила бы гордость, но что-то все же следовало предпринять, и она не придумала ничего лучше, как сказать однажды Натке:

– Слушай, все помешались на этих любовных делах – шушукуются, шепчутся, ахают, все поделились на пары, одни мы с тобой не при делах. Давай и мы себе кого-то присмотрим.

– Да совсем не все на пары поделились, – возразила Натка. – И потом, что значит – присмотрим?

– Ну, выберем, – сказала Лара.

– Выберем и – что? А нас они выберут – те, кого мы «присмотрим».

– Надо, чтоб выбрали, – заявила Лара.

– И как же это сделать? – не унималась Натка.

– Можно, наверное, как-то сделать. Давай попробуем, а то лето как-то скучно проходит.

– Ладно, – согласилась, наконец, Натка. – И кого ты выберешь? Мне, например, нравится Тофик, я тебе уже говорила. А ты кого выберешь?

Лара с показным равнодушием оглядела стоявшую неподалеку и что-то горячо обсуждавшую группу парней.

– Ну, вот хотя бы Руслана.

У Натки загорелись глаза:

– Он тебе нравится?

– Ну, как тебе сказать? – лениво протянула Лара. – Вроде, ничего.

– Ничего себе – «ничего»! Он клевый! В общем, пробуй, конечно, но, скажу я тебе, объект это сложный – многим девчонкам нравится.

– Ну, сложный, – согласилась Лара, – но так даже интереснее.

А дальше закрутилось: теперь Лара могла смотреть на Руслана как и сколько хочет, сидеть с ним рядом, обмениваться шутками – у Натки это вопросов не вызывало, она считала, что просто Лара от скуки пытается влюбить Руслана в себя. Остальные тоже, видимо, что-то заметили, но, зная Ларин характер, толковали это по-своему.

Наконец стратегические шаги Лары возымели действие: к ней подошла Лика и позвала ее к себе «на соберунчик», пояснив: «Руслан попросил». Про эти «соберунчики» Лара была наслышана. Собирались на квартире у кого-то из ребят, обычно

днем, когда родители были на работе, занавешивали окна, создавая «романтический полумрак», танцевали под модные пластинки, играли в бутылочку. Лару туда прежде не звали – там собирались те, у кого была «пара».

– Придешь? – нетерпеливо спросила Лика.

– А когда? – пересохшими от волнения губами спросила Лара.

– Да прямо сейчас.

– А можно Натку с собой взять?

– Шагу без Натки сделать не можешь, – недовольно скривилась Лика. – Ну, ладно, тащи и ее.

Когда они вошли в квартиру Лики, все уже собрались: Марик – Ликин брат, Тофик – к восторгу Натки, Юсиф – «пара» Лики, Ликина подруга Зуля и Руслан.

– Притащила-таки? – глядя на Лару, сказал Лике Марик. – Думал, не придет.

– Ты бы поменьше думал, тебе это вредно, – сказал Руслан, и все засмеялись, хотя ничего смешного он, в общем-то, не сказал.

– Кому холодненького? – принялась угощать всех Лика, притащившая из кухни бидон с квасом.

Гости шумно принялись угощаться. Лара вскоре освоилась, скованность, охватившая ее вначале, исчезла. Всем было весело. Говорили ни о чем, смеялись ни над чем – в их возрасте искать во всем смысл необязательно.

Потом Лика сказала:

– Потанцуем? – и включила проигрыватель.

Зазвучала незнакомая Ларе мелодия, грустная и нежная, и мужской голос запел по-французски: «Томбе ля неже»...

Лару охватило смятение – она знала, что Руслан пригласит ее на танец, она и ждала, и боялась, и очень хотела этого. Он поднялся с дивана, на котором сидел, подошел и протянул к ней руки. Она с ужасом и восторгом нырнула в эти руки, и они повели ее по танцу, чуть покачивая, и, ей казалось, – приподнимая ее над выкрашенным суриком деревянным полом. Это было особенное, никогда прежде не испытанное ею ощущение – она словно плыла в теплом мягком облаке и ничего и никого вокруг, кроме этого облака, не было... Потом они танцевали еще, и еще раз – под ту же мелодию, которая всем очень нравилась, – и ощущение облака не покидало ее.

– Кто это поет? – спросила она Руслана, и он ответил:

– Сальваторе Адамо.

Ее попробовал пригласить на танец Марик, и она лихорадочно думала, под каким предлогом ему отказать, но Руслан сказал:

– Она танцует со мной, – и ничего не пришлось придумывать.

Затем затеяли игру в «бутылочку». Ларе это было не по вкусу, но «отрываться от коллектива» было неудобно. Игра заключалась в следующем: кто-то крутит на полу пустую бутылку, и тот, на кого из сидящих вокруг покажет ее горлышко, удаляется с тем, кто эту бутылочку крутил, в соседнюю комнату, где им полагается поцеловаться. Ларе выпало целоваться с Мариком. Она особо не волновалась, удаляясь с ним в кухню – была уверена, что насильно ее целовать никто не станет. Но она ошиблась – Марик вцепился в нее мертвой хваткой и таки добрался до ее губ. Это было мокро и мерзко. Она и прежде предполагала, что целоваться в губы – противно. Но не настолько же! И когда раскрученная ею по правилам игры бутылка указала горлышком на Руслана, и они под многозначительными взглядами собравшихся вышли в ту же кухню, ее охватила паника – ей совсем не хотелось испытать те же

ощущения, что с Мариком, еще раз. Тем более – с Русланом, ведь тогда все творившееся в этот день между ними волшебство рассеется. И она попросила:

– Давай скажем, что поцеловались, а сами не будем.

Он внимательно посмотрел на нее и сказал:

– Как скажешь, – и волшебство не рассеялось, а стало еще волшебнее.

Через несколько дней они снова собрались, на этот раз у Тофика – Лика, Юсиф, Руслан и Лара с Наткой. И волшебство повторилось – они снова танцевали с Русланом под Сальваторе Адамо, и она снова плыла над полом в теплом мягком облаке...

Следующим вечером Руслан и Тофик подошли во дворе к Ларе и Натке и предложили «прогуляться». Они ходили по каким-то улицам и дворам, и как-то так получилось, что Натка с Тофиком куда-то подевались, когда и как, Лара с Русланом не заметили, и потом уже они каждый вечер бродили по полутемным улицам вдвоем – никакие уловки для этого теперь уже не были нужны.

– Целовались? – всякий раз интересовалась Натка, Лара отрицательно мотала головой.

– У-у-у, как неинтересно! – разочарованно тянула Натка.

Они и вправду просто шли рядом, касаясь друг друга плечами, и почти не разговаривая, и Ларе было хорошо, ведь она шла – в облаке!

В один из вечеров он все же поцеловал ее, это вышло как-то само собой, и того, чего Лара так боялась – что будет мокро и противно – не произошло, а было тепло и нежно, и облако, окружавшее их в тот момент, стало еще легче и пушистее.

И потом они стали целоваться каждый вечер – она ждала этого весь день, и как только наступали сумерки, и они оказывались в каком-то укромном месте – не могли оторваться друг от друга. Впрочем, поцелуи были, как она сейчас понимает, не совсем «взрослые», хоть и в губы. Но кроме поцелуев, были еще и объятия, позволявшие им перестать существовать отдельно, стать единым целым...

Так прошло лето. Вновь наступил сентябрь, снова школа, этот год для нее – выпускной. Ребята из их компании школу закончили еще в прошлом, а кто-то – и в позапрошлом году. Юсиф и Марик поступили в военное училище, ходили в щегольской военной форме, готовились стать офицерами. Тофик и Руслан учились в «мореходке» – морском училище. Домой их отпускали нечасто. Лара не могла дожидаться, когда они смогут увидеться. И снова они бродили по «их» дворам и улочкам, и им опять было тепло и нежно вдвоем. Учебу она запустила, хоть и понимала, что надо взять себя в руки, нужно подтянуться по математике и химии. Но открывала учебник, и из него на нее смотрело лицо Руслана...

Была уже зима, бродить по улицам было холодно, и теперь они ходили по чужим подъездам, стояли там подолгу молча, прижавшись друг к другу. Он звал ее в кино, к друзьям, к себе – говорил: «Познакомишься с мамой». «Мы знакомы», – отвечала она. «Ну, как вы там знакомы, просто здороваетесь, а так – посидите, поговорите», но она отказывалась – не хотелось делить то, что между ними было, с кем-то другим, делать их свидетелями этого. Он сердился, они начали ссориться – всегда из-за этого. «Ты стыдишься меня?» – спрашивал он. «Нет, что ты!» – говорила она. «Почему же тогда мы ото всех прячемся?» Она пыталась объяснить, он не понимал...

Новый год он звал ее встречать в их дворовой компании, Лара отказалась, они поссорились, на этот раз довольно серьезно. После праздников к ней подошла Зуля, спросила:

– Чего не пришла справлять с нами Новый год? Было весело – играли в буты-

лочку, – и как бы между прочим добавила: – Мы с Русланом целовались. Мне не понравилось.

Лару словно облили кипятком. «Как он мог?!» – твердила она сквозь слезы, шагая по улицам и не находя в себе сил остановиться. Она не знала, как теперь жить без него – конечно, без него, с ним теперь невозможно! ... а без него тоже ведь невозможно...

Через несколько дней он ждал ее возле дома, она отказалась с ним говорить, на его бесконечные «почему?» ответила: «Спроси у Зули!»

На следующий день он притащил к ней Зулю и потребовал от обеих, чтоб ему объяснили, что происходит. Под его нажимом Зуля призналась, что все выдумала, «чтобы проучить эту задавалу!», и что «с ней только так и надо».

– А ты – дурак! – в заключение зло бросила она Руслану и почти в слезах убежала. Лара с Русланом помирились, но осадок у нее остался...

Они так же встречались, ссорились, мирились, и она так же не мыслила жизни без него. А потом снова пришла весна и тепло – счастливое время для них. Они снова могли бродить допоздна, и им никто не был нужен. Однажды их застал ливень, да какой! – вода падала стеной, воль улиц мчались почти мгновенно образовавшиеся реки, они укрылись в беседке в одном из оказавшихся поблизости дворов и просидели там несколько счастливых часов, переживая ливень. Он так и не кончился, и им пришлось брести босиком по дождевым озерам, особо не торопясь, потому что они вымокли до нитки сразу же, как только вышли из беседки...

Этот весенний майский день запомнился ей как один из самых счастливых для них. Быть может потому, что таких пронзительно счастливых дней у них больше не было...

Следующее лето выдалось суматошным. Лара сдала выпускные экзамены в школе и готовилась к вступительным в вуз, что плохо у нее получалось, потому что все мысли ее были о Руслане. У него началась практика, его отправили куда-то плавать на учебном корабле, и она мучительно тосковала о нем. В вуз она не поступила, завалила последний экзамен. Руслан вернулся, утешал ее ничего не значащими словами, а она все чаще стала задаваться вопросом – что дальше? Он продолжил учебу, она устроилась делопроизводителем на небольшое предприятие и снова тосковала о нем и ждала встреч с ним. Однажды по двору пополз слух, что у Руслана в городе, где он проходил практику, был роман с какой-то девицей, и она ждет от него ребенка. Эта новость почти убила Лару. Но и – как бы встряхнула, отрезвила. Она села за учебники, решив в будущем году непременно поступить в вуз.

Видя, как Лара переживает из-за Руслана, Натка утешала ее: «Не переживай, такое случается, он же мужчина, а любит он все равно тебя, понимаешь?» «Не понимаю!», – резко ответила Лара. Она теперь избегала и Натку, и Руслана. Но он снова дождался ее у дома и стал доказывать, что все, что о нем говорят, это – ложь, сплетни. Ему удалось убедить ее в этом. Почти удалось... «Помнишь, тогда, с Зулей, ты тоже поверила, а оказалось, что все – ложь», – говорил он Ларе. Она слушала, согласно кивала, но что-то было уже не так, как прежде... не совсем так. Она уже меньше думала о нем, а больше – о себе, о своем будущем...

Снова пришла весна. Руслан окончил училище и вскоре должен был уйти в свое первое «не учебное» плаванье. Перед самым его отъездом они снова поссорились, на этот раз серьезно. Причиной стал ее отказ участвовать в организованном им для всех его друзей застолье. «Понимаешь, – твердил он Ларе, – это для меня важно – дип-

лом, первое плавание. Я хочу это как-то отметить!» «Давай отметим это вдвоем – только ты и я. А потом ты отметишь с остальными». Он долго спорил, уговаривал, возмущался, затем, не простившись, ушел. Он уехал, а она стала усиленно готовиться к поступлению в вуз. И когда пришло время приемных экзаменов, она их сдала. И – поступила. Теперь времени думать о Руслане у нее почти не было. Учебные дисциплины, преподаватели, однокурсники – все было новым, во все нужно было вникать, осваивать. У нее появились новые интересы, новые друзья. Зимой Тофик передал ей письмо от Руслана. Оно ее обрадовало, что-то, почти было погасшее в ее душе, затеплолось вновь. Она ответила. Они переписывались несколько месяцев, пока он не вернулся. В одном из писем он написал, что любит ее – прежде он никогда этого не говорил. Просил ждать его, а когда вернется, стать его женой. Наверное, скажи он это раньше, она сошла бы с ума от счастья. Сейчас ей было просто приятно – ей ведь впервые сделали предложение. Она ответила уклончиво, просила подождать. Он ответил своим всегдашним «как скажешь». И все же она его ждала. И когда он приехал и передал через Натку, что будет ждать Лару вечером в «их месте» – в той самой беседке, где они когда то укрылись от ливня, она с трудом дождалась назначенного времени. Они встретились и, не сговариваясь, пошли привычным для них маршрутом. Ей не терпелось остаться с ним наедине, почувствовать на плечах его руки, на губах его губы, и ощутить себя в облаке, которого ей так не хватало все это время. Наконец он обнял ее, их губы встретились, и она вдруг поняла – облака не было. Все было, как прежде, как всегда, но облака – не было. Она вдруг утратила интерес к встрече и, придумав какой-то предлог, заторопилась домой. Они встречались так еще несколько раз, она изо всех сил старалась не подавать виду, что что-то изменилось, и все ждала – а вдруг облако вернется. Но оно не возвращалось...

В один из выходных дней Руслан позвал ее на свадьбу. Женился его друг Марат, он их как-то знакомил. Другу она тогда не понравилась – Лара поняла это по взгляду, которым он ее окинул. «Вы – Лара, – сказал он. – Много о вас слышал». По его тону Лара поняла, что то, что он о ней слышал, не пришлось ему по душе. ..

Пойти на свадьбу Марата? Неожиданно даже для себя она согласилась. Ее согласие удивило и Руслана – впервые Лара согласилась «выйти с ним в люди». Впрочем, она ведь теперь была как бы его невеста.

Марат справлял свадьбу дома (сейчас это кажется странным, но в те времена это было обычным делом) – в небольшой двухкомнатной квартире, в которую набилось тридцать гостей. Но все как-то разместились, было шумно и весело. Лара выбралась из комнаты, где во главе стола восседали жених с невестой, и перешла в другую. Руслан друга не оставил и остался при нем. А Лара уселась за стол в соседней комнате, там за ней сразу же начал отчаянно ухаживать симпатичный молодой человек, который сгребал со стола все самое вкусное и складывал ей в тарелку, а потом пригласил ее танцевать. Ларе он понравился, и она даже стала думать, как бы сделать так, чтобы у них была возможность увидеться снова. Но тут в комнату вошел Руслан и, увидев рядом с ней парня, заявил, что им пора домой, и они ушли. Лара была раздосадована тем, что они ушли так рано, шла молча, глядя в землю. Руслан обнял ее, прижал к себе, хотел поцеловать, она молча сопротивлялась.

– Что случилось? – спросил он. И тогда у нее вырвалось:

– Я больше не люблю тебя!

Он пробормотал растерянно:

– Как же так! А свадьба?.. Я ведь уже и кольца купил, обручальные...

Лара не ответила. Помолчав немного, он сказал:

– Пойдем.

И они пошли. За все время, пока они шли к ее дому, ни он, ни она не проронили ни слова. У ее подъезда молча разошлись. В голове и на душе у Лары было пусто. Дома она, не раздеваясь, легла на диван и сразу же заснула. Ее не мучили ни сожаление, ни угрызения совести, ни мысли о том, как все теперь в ее жизни будет. Все вдруг стало четко и ясно...

...Вот такая история. Оказывается, Лара все помнила – до последнего слова, до последнего взгляда, до последнего ощущения. И это было странно – ведь она никогда не возвращалась к этому даже в памяти, казалось, все стерлось, забылось. Не забылось...

...Много странного в нашей жизни... Как там сказала Натка, когда она на следующий день после встречи с Маратом помчалась с ней, чтобы поделиться тем, что произошло (с Наткой они дружили до сих пор, да и жили в том же дворе, где прошло их детство – Лара с сыном, а Натка – с мужем и тремя дочерьми). «Представляешь, глупость какая! – возбужденно говорила Лара. – Я должна поверить в то, что человек всю жизнь жил той историей из юности!» «А ты не веришь? Жалко...» – тихо проронила Натка. Помолчав, сказала: «А может, ты – это лучшее, что было у него в жизни?»...

«А у меня? – вдруг подумала Лара. – Было ли у меня что-то лучше?»

Ей вдруг захотелось снова услышать ту песню Сальваторе Адамо. Она включила компьютер, вышла в интернет и набрала: «Сальваторе Адамо. Падает снег. Слушать». Подумала: «Вряд ли в интернете есть такое старье»... Но в интернете все было, и вскоре Лара уже слушала глуховатый голос певца, выводивший: «Томбе ля неже»... Песня произвела на нее то же впечатление, что и тогда, когда она услышала ее впервые – что-то горькое и нежное сжимало грудь. «Интересно, о чем он поет?» – подумала Лара. «Ну, падает снег... почему так грустно?» Ответ на свой вопрос она нашла у югославской певицы, тоже очень популярной во времена ее молодости, Радмилы Караклаич, которая, оказывается, тоже исполняла эту песню. Она пела ее на ломаном французском, но потом шел перевод на русский:

*«Падает снег...
Ты не придешь сегодня вечером.
Падает снег.
Мы не увидимся, я знаю.
И опять я слышу
Твой любимый голос,
И чувствую, что я умираю.
Тебя нет здесь...»*

Лара слушала и мысленно повторяла вслед за певицей:

Мы не увидимся, я знаю...

Тебя нет здесь...

Нет здесь...

Нет...

* * *

Приходит женщина к мужчине
И остается насовсем –
По той божественной причине,
Что суждено познать не всем.

Приходит к женщине мужчина
И остается у нее –
Все та же мощная причина
Берет среди других свое.

Ничто – ни слава, ни богатство
Ей не соперники, но вот
Чего ей следует бояться:
Вдруг кто-то третий позовет...

Чужая семья

Вот пара из двух одиночек –
Союз, но отнюдь не семья:
Никто подчиняться не хочет,
У каждого правда своя,

Хоть оба хорошие люди
И, в общем, достойны вполне,
Чтоб жить по своей амплитуде,
На собственной нужной волне.

Ошибку ли где допустили,
Не та ли над ними звезда –
Но тянутся годы пустые,
И время течет в никуда.

* * *

Не понимая очень многого
В своей душе – в чужую лезем,
Тараня, будто вражье логово,
Нахальным словом, как железом.

И получаем сдачу резкую,
Сюжет меняющую круто...
А всё привычку эту мерзкую
Никак не бросим почему-то.

Хотя советы или мнения
Навязывать – все понимают –
Нехорошо... Но, тем не менее,
Желающих не убывает.

* * *

Дымка синяя вдали –
Как полоска моря...
Пляжи, чайки, корабли –
Все сегодня в сборе.

Шум прибоя, голоса,
Якорные звоны,
Яхт косые паруса,
Воздух, чуть солёный.

Пробудившийся азарт,
Жаждающий хоть глянуть
В жизнь, ушедшую назад,
Врезанную в память.

Где так было хорошо,
Что нельзя без боли
Оторвать, как корешок,
Не разъяв на доли.

И моя ли тут вина,
Что все время вижу
Из раскрытого окна
Сказанное выше?!..

* * *

Семиэтажные деревья
Над трехэтажными домами,
На нас взирая с недоверьем,
Качают тихо головами.

А мы – мучители земные –
Снуём под ними, как пигмеи,
В своей величии смешные,
Самих себя не разумея...

Зарисовка с натуры

Чаепития воскресные
С самоваром на столе,
Разговоры интересные
О стране, да о Земле.

С каждым днем
страшной пророчества –
Мол, погибнуть суждено...
Мир кипит, но очень хочется,
Чтоб не сбылось ни одно!..

9

Как достичь компромисса,
Сблизить два интереса,
Если на коромысле
Вёдра разного веса?!..

10

Ключевые слова:
«Справедливость,
Совесь, Искренность,
Честность, Мораль...»
Сколь бы жизнь твоя долго ни длилась –
Грязью их никогда не марай!

11

На́ ночь хорошая книга –
Лучше любого лекарства:
Сон до последнего мига
Будет чудесным, как сказка...

* * *

Есть у каждого малая родина
На просторах огромной страны,
Что вовек не забыта, не продана
И питает прекрасные сны.

Хуторок над речушкой безвестною –
Или гордый орлиный аул,
Тихий лес с соловьиною песнею –
Или моря раскатистый гул...

Если накрепко держится в памяти
Первый в жизни родной уголок –
Вы стеной за Отечество встанете
И не пус́тите зло на порог.



ВАФА ГАДЖИЕВА

КОРАН, КОРАНИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА

(На основе анализа поэм Низами Гянджеви)

В 90-е годы XX века азербайджанский востоковед Н. Д. Геюшев в статье «Эволюция духовного идеала Низами и Физули» заметил: «...в настоящее время признано, что оценка художественного наследия средневековых поэтов с помощью категорий современной эстетики трудна и иногда невозможна. Изучение сущности и структуры средневекового художественного сознания осложняется переплетением в нем различных духовных, идеологических и этического-нравственных элементов. Во-вторых, здесь большое значение имеет влияние религиозного сознания, так как в средневековых общностях религиозное единство было определяющим».

Религиозно-мистический аспект мировоззрения великого азербайджанского поэта и мыслителя XII века Низами Гянджеви в основном отражен во вводных главах поэм Пятерицы (Хамсэ). Как правило, это славословие Творца и его пророка Мухаммеда, воспевание монотеизма («тоухид»), Единства Творца.

В этой статье мы попытаемся раскрыть смысл и содержание бейтов на основе Корана, рассмотрим интерпретации мусульманскими теологами категории так называемых имен-эпитетов – «асма-ул-Аллах» или ал-асма'ва-с-сифат (имена и атрибуты), возвеличивающих Всевышнего, а также средневековую мусульманскую поэтику, что позволит глубже, шире и точнее проникнуть в поэтический мир образов, созданных Низами.

Воспевая Всевышнего, Низами рассматривает такие вопросы онтологии, как Бытие, Реальность, Истина и, опираясь на коранические аяты, отождествляет Бога с «Вечностью», «Истиной», «Высшей Справедливостью», «Первопричиной» и «Первоосновой».

Как отмечает доктор Бехруз Серватян (Тегеран), автор книги «Риторика в персидской поэзии», кораническая вступительная фраза «Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим» в поэтическом оформлении впервые была применена Низами Гянджеви в поэме «Сокровищница тайн». Поэтический прием вплетения в стихотворение полустушия, бейта [другого автора], который должен быть широко известным, называется «тазмин» или «тадмин» («включение»). «Этот вставной бейт необходимо как-то выделить в тексте, чтобы не возникло подозрения и обвинения в [литературном] воровстве». (Рашид-ад-Дин Ватват. Сады волшебства. М., 1985, с. 157.)

Включив коранический оборот «Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного» в состав двустишия, поэт усиливает экспрессию стиха и придает его содержанию дополнительный смысловой оттенок. Поэт в соответствии с идеями ислама, изложенными в Коране, выдвигает на первый план два главных имени – свойства (сыфат) Творца: «ар-Рахман» (Милостивый, Сострадательный) и «ар-Рахим» (Милосердный), из Суры 59 «Собрание», подчеркивая безграничное и неиссякаемое милосердие Божье. Во второй строке вышеупомянутого двустишия воспевается одно из существенных свойств Бога – его мудрость (аль-Хаким).

«Милосердие его (Бога – Г.В.) распространяется на все его деяния, но более дивным образом там, где касается это людей. Он их всех любит, желает им добра, грешников терпит, виноватых прощает, блудников призывает, возвращающихся принимает, медлящих ждет, сопротивляющимся дает время, кающихся обнимает, неумелых учит, печальных утешает, перед падением оберегает, после падения поднимает, просящим дает, непросящим сам уделяет, стучащим отворяет, к нестучащим сам стучится, ищущим помогает найти, к не ищущим сам идет на глаза». (Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения, т. I, М., Педагогика, 1982, с.175.)

Используя поэтический прием «иктибас» (цитирование выражений, стихов-аятов, хадисов (изречения пророка Мухаммеда) и идей из священного Корана.), поэт восхваляет мудрость (аль-Хаким) Аллаха. Так, в вводной части поэмы «Хосров и Ширин» под названием «Во имя Создателя» поэт восхваляет Творца:

*Во имя давшего всем существам названья,
Земле – ее покой, а звездам – их мерцанье.*

Как искренне верующий «ахл-е тоухид» (приверженец единобожия), Низами продолжает традицию, которая существовала издревле, еще во времена Зороастра (Заратуштра). В «Гатах» (мольба, заклинание), в наиболее значимой и почитаемой части священной книги зороастризма «Авеста», пророк, восхваляя Ахурамазду, молится и просит его о помощи. Израильский пророк Давид в «Псалтыри» славословит Бога, превознося его с горячей любовью и нежностью. И Низами во вводной части поэмы «Хосров и Ширин» сравнивает себя с пророком Даудом, а свою поэму уподобляет Забуру – «Забурам» («мой псалом», гимн, песнопение) по искренности и глубине своей веры к Всевышнему Аллаху:

*Как дивно царь Давид воспел тебя в былом!
Пусть к тебе и мой возносится псалом.*

Имя Аллаха воспевается также во вступительной главе «Во имя Бога» поэмы «Лейли и Меджнун»:

*О ты, который вечен и не зрим,
Дозволь начать мне именем твоим.*

*Ты, создатель сущего, могуч,
Тайн мирозданья сокровенный ключ.*

«Аллах» в представлении Посвященного в тайны мироздания поэта – Всесвятой, «Всевышнее и Всесвятое царствие принадлежит» Ему; Он – Всемиловитый Мудрец, Наставник, Всевышний; «кто не подвержен изменению», «обладатель вечной жизни»:

*Он существует изначально, прежде всех сущих,
Он вечен, вечнее всех долговечных.*

Или:

*Все мы тленны, только Ты вечен,
Всевышнее и Всесвятое царствие принадлежит Тебе...*

«Аллах» – «создатель всего Бытия», оживотворитель всего сотворенного, «Сущий по своей сущности»:

*Под Твоим стягом восседает вселенная,
Мы сущи Тобою, а Ты сущ по своей сущности.*

«Аллах», по мнению Низами, это и Абсолютный Разум, и Чистый Дух, «Он – изобретатель всего, что обладает бытием...»:

*Он – исконный повелитель (вождь) древнего мира,
Он надел на шею калама ожерелье.*

В данном случае поэт посредством «иктибас»а передает на персидском языке первый аят из 68 суры Корана «Письменная трость»Корана:

(1). Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что пишут!

«Калам – тростниковое перо. Согласно мусульманской теософии, до сотворения мира Аллах изобразил своим каламом на хранимой у него скрижали (Лаухи-махфуз) план будущей вселенной и предначертал судьбы всех людей. Таким образом, первым актом творения было письменное изображение вселенной, создание слова. Эти слова, начертанные на скрижали, сравниваются с ожерельем на шее божественного калама¹».

Аллах, в подаче Низами, всемогущ, извечен, безначальный и бесконечный. Он – Творец, все сотворенное в соотнесении с Ним ничтожно, Царство миров принадлежит Ему:

*Он – создатель каждого источника, обладающего щедростью,
Он – изобретатель всего, что обладает бытием.*

Используя «иктибас» и исходя из аята (101) в суре 6 (Скот), поэт выделяет в образе Творца, свойство, присущее только Ему и которым не наделено ни одно из сотворенных им созданий:

101. (101). Создатель внове небес и земли! Как будет у Него ребенок, раз не было у Него подруги, и когда создал Он всякую вещь и о всякой вещи Он сведущ!

Как справедливо отмечают специалисты, «Коран для Низами, прежде всего, источник, утверждающий мощь Аллаха (Бога), Его единство, справедливость и другие качества»².

И поэт широко использовал в создании художественно-образительных образов в своих поэмах коранические аяты и выражения.

«Аллах», согласно Низами, источник жизни, Сущий, Истинный, Един, совершенный, безупречный. Во вступлении к поэме поэмы «Семь красавиц» поэт пишет:

*В беспредельном светит щедрость вечная твоя,
О создавший, населивший лоно бытия!*

Воспетое поэтом свойство Аллаха быть Творцом имеет непосредственное отношение к первому стиху суры 6 «Скот» Корана:

Сура 6 «Скот» 1. (1). Хвала Аллаху, который сотворил небеса и землю, устроил мрак и свет!

Аллах, согласно Корану, «Нур-ал-анвар» (Царство Света). И Низами особо апеллирует к этому свойству Аллаха:

*Он – нанизыватель жемчужин (знаний) на тонкую нитку разума,
Он – светоч для слепых глаз разума.*

Низами в своей романтической поэме-маснави «Хосров и Ширин» величает Аллаха почетным титулом «ходавандан-е ходаванд», т.е. «Владыкой властителей» и посредством стилистической фигуры «иктибас» передает смысл суры 112 «Ихлас» («Очищение»):

¹Низами Гянджеви, Сокровищница тайн, Комментарии, 1983, с.181.

²Бабаев Х. Б. Коранические аяты и мотивы сказаний в «Хамсэ» Низами. Баку; 1999, с. 54.

*Непостижимому, не кажущему лика,
Тому, кто наречен «властителей владыка».*

Поэт не случайно поместил в данном разделе суру 112. Известно, что второе название ее «Тоухид» (Единство):

*Это Ты, кто не подвержен изменению,
Это Ты, кто не умирал и не умрет (никогда).*

Все это свидетельствует о том, что поэт был убежденным последователем единобожия («тоухид»), «Единой Истины» и владел высшим знанием о Бытии и Боге (ал-ма'рифа) и, на наш взгляд, одним из великих умеренных мистиков в истории ислама.

Аллах в определении Низами вечен. Об этом поэт говорит в главе «Первое тайное моление. О единстве Аллаха и просьба к нему» поэмы «Сокровищница тайн»:

*Он был тогда, когда еще не было высот и низин,
Он будет и тогда, когда не будет того, что есть сейчас.*

«Аллах» в представлении Низами Гянджеви – это и нечто «Единое», «Безначальное», «Бесконечное»; «как начало и конец всего», не имеет формы, «безначальное начало», «бесконечный конец»:

*Начало Его – безначальное начало,
Конец Его – бесконечный конец.*

И во введении сказочной поэмы «Семь красавиц», состоящей из множества новел, Бог определяется как «начало всего сотворенного» и «завершение всего»:

*Ты – начало сотворенья и венец вещей,
В бесконечном завершенья и конец вещей.*

А вот отрывок из вводной главы к поэме «Хосров и Ширин» «Восхваление Бога»:

*Тому, пред кем все мы моление свое
Возносим, распознав, что в нем – все бытие;
Непостижимому, не кажущему лика,
Тому, кто наречен «властителей владыка»:
Тому, кто твердь воздвиг, возжег огни планет,
Кто в разум наш с высот прямой бросает свет.*

Тысяча один эпитет прилагается к Творцу, это так называемые «Асма-ул-Аллах». «Сумма числовых значений букв имени Низами также составляет цифру 1001. Поэт считает это символическое совпадение знаменем того, что он находится под особым покровительством Всевышнего:

*О Ты, от кого исходит слава имени Низами,
Служа Тебе, он обрел господство (стал хадже).*

Второе полустишие обозначает: поэт, служа рабом у Аллаха, стал вельможным господином (хадже) в царстве поэзии.

Следует отметить, что А. Д. Кныш в статье «Учение Ибн 'Араби в поздней мусульманской традиции», опубликованной в сборнике статей «Суфизм в контексте мусульманской культуры»,

также высказывается по этому поводу: «...постижение суфием-гностиком (ал-'ариф) Абсолюта, чьи имена и атрибуты (ал-асма'ва-с-сифат) овеществляются в предметах Вселенной, есть динамичный и противоречивый процесс. Растерянность познающего перед непрерывно меняющимся бытием, отражающим на уровне чувственных восприятий все новые и новые модусы существования и самопознания Абсолюта, сменяется неожиданным прозрением и осознанием «истинного» положения дел во Вселенной. Далее неизбежно следует глубокое отчаяние, вызванное пониманием того, что познание лишь одна из бесчисленных ипостасей «абсолютной Реальности» (ал-хакк), постичь которую возможно только благодаря непрерывному синхронному изменению состояний самого познающего. Путь к высшему знанию о бытии и Боге (ал-ма'риф) – это путь безрассудной, самоотверженной любви к постигаемому объекту. Любовь неизменно, раз за разом приводит мистика к вершине мистического переживания – слиянию познаваемого и познающего в одно нерасторжимое целое». (Кныш А. Д. Учение Ибн 'Араби в поздней мусульманской традиции // Суфизм в контексте мусульманской культуры, М.; Наука, 1989, с.11.)

Так, по мнению Низами, одним из существенных качеств Аллаха является «выражаясь словами самого поэта, «открыватель завесы» (тайн Вселенной):

*Он – открыватель завесы с небосвода, держателя завес (над тайнами),
Он сокрыт под завесами от взоров тех, кто видит все, что под завесами.*

В упомянутом двустишии восхваляется одно из прекрасных имен-свойств Аллаха «аль-Фаттах»:

«Аль-Фаттах – (открывающий (разъясняющий)). Тот, кто раскрывает скрытое, облегчает трудности, отводит их; тот, у кого ключи от сокровенных знаний и небесных благ. Он раскрывает сердца верующих для познания его и любви к нему, открывает нуждающимся врата для удовлетворения их потребностей. Человек, познавший это имя Аллаха, помогает созданиям Аллаха отвести вред и удалить зло и стремится стать поводом для раскрытия перед ними врат небесных благ и веры».

Во второй строке особо подчеркивается то, что «Аллах сокрыт даже от взоров пророков и мудрецов».

А вот как выражено поклонение Богу во вступительной главе «Во имя Бога» в поэме «Лейли и Меджнун»:

*Ты, светом наполняя времена,
Нам озарил сияньем письма.
Творец живого и зиждитель сил,
Ты пред злодейством двери затворил.
Взываем мы: «Аллах, благослови!
Свое располженье нам яви!»*

Низами, используя стиль «тансик-ас-сифат», т.е. перечисляя эпитеты Всемилового Бога, нарекаемые в традиционной поэтике «тоусиф», восторженно воспевает Всевышнего Аллаха:

*Сорвал завесы ты с семи невест,
И девять паланкинов – без завес.
Твой разум созидающий велик,
Ты явное и тайное постиг.*

В данных бейтах поэт утверждает, что все сотворенное есть, на самом деле, манифестация (таджалли) божественной реальности.

«В трактате «Фусус ал-хикам» Ибн'Араби говорит о двух типах манифестации божественной реальности: видимой (таджалли аш-шахада) и скрытой (таджалли ал-гаиб). Видимая манифестация соответствует конкретной форме (или образу), в которой тот или иной человек видит Истину. Скрытая манифестация соответствует внутренней реальности сердца, которая в одно и то же время и универсальна и едина и предопределяет конкретную форму восприятия Истины каждым человеком». (Фильштинский И. М. Концепция единства религиозного опыта у арабских суфиев // Суфизм в контексте мусульманской культуры, М., Наука, 1989, с.31.)

Согласно мнению Низами, Аллах – безначальный, предвечный, «первый и последний по сущности и свойствам»:

*Он – первый и последний по сущности и свойствам,
Он – создатель бытия и разрушитель бытия вселенной.*

«Аль-Аввал» – «Начало (Первый) – Альфа – безначальный и предвечный. Тот, кто предшествовал вселенной», а «Аль-Ахер» «Завершение (Последний) – Омега – последний; тот, кто останется после уничтожения всего сотворённого; тот, кому нет конца, вечно остающийся; тот, кто уничтожает всё; тот, после которого не будет ничего, кроме него, вечного, бессмертного, всемогущего Бога, творца всех времён, народов и миров».

Основываясь на коранических аятах 27 и 78 из суры 55 «Милосердный» Корана, и используя «иктибас», Низами воспеваает щедрость, милость, великодушие и благодать (аль-Карим) Аллаха в процессе творения:

*До тех пор, пока Его милость (щедрость) находилась за завесой света,
Шип от розы, а тростник от сахара были далеки.*

Аллах, согласно Низами, обладает такими качествами как «могущество», мощь:

*Рядом с Его всемогуществом, для которого оба мира (ничтожно) малы,
Наше начало и наш конец – лишь одно мгновение.*

В бейте: *В этой извечной обители кто может, Кроме Господа, вопрошать: «Кому принадлежит царство?»* великий Низами, мастерски используя поэтическое средство «иктибас», при воспевании могущества Аллаха ссылается на кораническую суру 40 «Верующий», аят (стих) 16. «В тот день, когда они предстанут, не будет скрыто у Аллаха о них ничего. Кому царство в тот день? Аллаху Единому, Могучему!». Поэт посредством риторического вопроса, замаскированного из Корана («Кому принадлежит царство?»), выражает свое восхищение перед мощью Единого Творца.

«Аллах» в поэтике Низами – Властелин, Святой, Пречистый, Оберегающий, Хранитель, Могущественный, Могучий, Гордый, бесподобен и самодостаточен, «не подвержен тлену».

Опираясь на коранический аят 42 в суре 2 «Корова» Низами принимает Бога как «ал-Хакк» – Абсолютную Истину.

Аналогично Низами приводит еще одно имя Бога – «аль-Раззак» – тот, который «сотворил средства к существованию и наделил ими свои создания».

Такие эпитеты Бога, которые в традиционном мусульманском богословии именуются «'асма-у-хусна» («красивые имена» – эпитеты Бога), в поэтической интерпретации поэта служат усилению экспрессии стиха.

Что касается пророков, Низами, как правило, восхваляет их во всех вступительных частях своих поэм-маснави, включая иногда в бейт известные изречения пророка Мухаммеда:

*Он – воспитатель воспитывающих (свои) души,
Он – воздвигающий день питающихся хлебом насущным.*

Согласно толкованию проф. Р.Алиева, «Воспитывающие (свои) души – пророки, подвижники, святые, т.е. те, кто занимается очищением своей души и самоусовершенствованием. Второе полустишие – перефразировка стиха Корана.

Низами в «Сокровищнице тайн» в тех главах, где воспевает и восхваляет пророка мусульман Мухаммеда, упоминает также о его предшественниках-пророках.

Значительно чаще в «Хамсе» (особенно в «Сокровищнице тайн» и «Хосрове и Ширин») встречается имя Иисуса (Исы) – сына девы Марии. Создается впечатление, что среди библейских пророков наибольшую симпатию, даже какое-то нежное чувство Низами питает именно к Иисусу, гонимому Масиху (Мессии).

Нередко с различным социальным, этическим наполнением предстает известная картина из Евангелия: вхождение Иисуса в Иерусалим... Автор «Хамсе» разнообразит смысл этой сцены, придает ей свои толкования, делает из нее свои поучительные выводы:

*«Не каждый осел в силах таскать пожитки Масиха,
Не всякой голове доверяют тайны государства»*

Или:

*«Лучше тебе, подобно ослу Исы, питаться травой,
Нежели просить у других хлеб»*

Другой совет:

*Разум – Масих, не выходи из послушания ему,
Если ты не осел, не тащи осла Масиха в болото.*

Антропонимы «Иса» и «Масих» выступают изобразительно-выразительным средством, выполняя в тексте поэмы поэтико-стилистическую функцию.

Кроме того, Низами часто обращается к хадисам (изречениям) пророка Мухаммеда:

*(Знамение) «Кунту набийан» вынесло свое знамя раньше (всех)
И возложило завершение пророчества на Мухаммеда.*

«Кунту набийан» означает «я был пророком». Начало знаменитого хадиса (изречение пророка), приписываемого Мухаммеду. Полностью этот хадис гласит: «Я был пророком, когда еще Адам был глиной и водой». По учению ислама, Мухаммед был создан раньше прародителя людей Адама, но он явился в этот мир после всех пророков, ибо после него других пророков не будет. Поэтому его прозвали «Завершением пророков» или «Последний из пророков».

Посредством поэтического приема «халл или тахлил» (растворение), поэт добивается усиления экспрессии стиха.

«Халл – растворение... Суть данного приема заключается в том, что приведенная поэтом кораническая вставка, растворяясь в стихе, становится его неотъемлемым художественным компонентом. Здесь в качестве вставки может быть употреблено даже одно слово или понятие. Но данное понятие приобретает художественный и образный облик». (Кулиева М. Введение в классическое арабо-мусульманское литературоведение. Баку, 2015, с.191.)

Вознесение пророка к Аллаху (по-арабски – «мирадж») описано в Коране в 53-й главе («Сурат ан-Наджм»). В дальнейшем мусульманской традицией с этим вознесением было связано и «чудесное ночное путешествие» Мухаммеда из «Мечети неприкосновенной» («Месджид-ул-Харам» – Г. В.) в Мекке в «Мечеть отдаленнейшую» («Месджид-ул акса» – Г. В.) в Иерусалиме (гл.17 «перенес ночью»). Вознесению Мухаммеда в главе «ан-Наджм» («Звезды») посвящено 18 стихов, основное содержание которых сводится к тому, что «...вот Он стал прямо на высшем горизонте, потом приблизился и спустился, и видел он Его при другом нисхождении у лотоса крайнего предела (Коран, с. 420)».

Согласно мусульманскому теософическому представлению, из среды всех пророков одному пророку Мухаммеду удалось достичь седьмой ступени познания Абсолюта. Там, где состоялась встреча души пророка Мухаммеда с Аллахом, т.е. на седьмой, завершающей ступени, Мухаммед смог узреть своим духовным оком все величие, мощь, красоту, милосердие, могущество Всевышнего, Милосердного, Всемилостивого Аллаха и получить от него благословение. Кроме того, согласно мнению мусульманских богословов, Мухаммед смог получить прощение грехов своих подданных, т.е. мусульман, верующих в единого Аллаха, и стать их заступником в День воскресения.

Низами в главе «О вознесении пророка» дает весьма красочное описание мираджа:

*«В ночь, когда небо озарило пир,
Ночь по блеску своему состязалась с днем.
Преграда перед ставкой семи султанов
Была из китайского шелка, украшенного жемчугами.
Глава облаченных в зеленые одежды жителей райских садов
Наполнил свежестью поля и луга.
Мухаммед был султаном этого ложа,
Наследником стольких халифов.
Он развязал мешочек с мускусом в дальней мечети,
Пустился от пупа земли к дальней мечети.
Он (т.е. его душа – В.Г.) от оков мира
Стал возлюбленным предстоящих у трона ангелов.
Он сложил поклажу (т.е. тело – В.Г.),
ушел из этой семидесятикратной улицы (мира – Г.В.)
И разбил палатку на седьмом небе.
Он освободил сердце от забот о делах девяти горниц (т.е. мирских – В.Г.).
...Он вырвался из этих четырехкратных колодок
И погнал коня на семь высоких сфер...
...Бежал скорее, чем стрела, вылетевшая из лука.
Самые быстрые замыслы высоко летящей мечты
Отставали от него на семьдесят шагов.
Он пронесился через мир, подобно ангелу,
Нет, он не пронесился через мир, он нес на себе мир.
На ночном пастбище опьянился он ночной тьмою,
Мчался он, неся ночной самоцвет, подобный месяцу...
Он был столь быстроходен, что от быстроты его бега
Его покой опережал быструю скачку...
...Он шагал с быстротой, подобной взгляду.
Быть может, опережал даже взгляд...
...На каждой стоянке он вручал подарок,
Так что под конец остался он один и единое сердце его.
Душа пророков, как прах, (стелилась) ему под ноги,
Всякий хватался за его стремя.
Пояс за поясом, гора за горой гнал он,
Хребет за хребтом заставлял скакать коня...»*

*...Он пролетел через шатер неба,
Перелистал землю и время.
От быстроты бега его не видели
Те, кто был вокруг, вокруг него его пыли.
...Тело его на далеких возвышенностях
Облекло духов в светоносные тела.
На этом пути, не знающем пути к заблуждению,
Упал его выюк и устал конь.
На пути его осыпались перья Джабраиля,
Исрафил бежал от такого натиска.
Проскакав на много фарсахов дальше Рафрафа,
Он воспел славословия богу.
От врат лотоса и до подножия трона
Шаг за шагом чистота устилала все коврами.
Он прошел тронную залу ангелов,
Вошел в высшую горницу, прошел и ее.
Власть пространства пришла к концу,
Оборвалось вращение циркуля (сфер).
Рожденный на земле устремился на небо,
Оставил позади землю и время.
Свое одинокое хождение он довел до того,
Что от бытия его ничего у него не осталось.
Кружил он на пути небытия,
И поэтому вышел из своего существа...
...Он смело шел по пути, где нет низа и верха,
Ибо в круге нет ни верха, ни низа.
Занавес божественного сана подняли,
Очистили покой от посторонних.
В том месте, коего не может коснуться мысль,
От Мухаммеда – молитва, от бога – приятие.
Он услышал речь, раздававшуюся без орудия (речи).
Он удостоился того свидания, которого должен был удостоиться.
Увидел он, что у великого и могучего
С одной стороны нет пространства,
С другой немислимо представлений...
Все тело его стало оком, как нарцисс,
Не осталось ни единого шипа (препятствия) вокруг него...
...Сердце его получило свет божественных щедрот.
Смотри, какое царство достал сирота».*

На наш взгляд, было бы интересно интерпретировать ми'радж с точки зрения эзотерики и попытаться изложить эту встречу, т.е. свидание души пророка Мухаммеда и Абсолюта на «седьмом небе», согласно существующим в эзотерической литературе взглядам.

«Но как описать возвращение чистой души в ее собственный мир? Земля исчезла как сновиденье. Новый сон, очаровательное забытие охватывает ее как ласка. Она не видит ничего, кроме своего окрыленного Руководителя, который уносит ее с быстротой молнии в глубины пространства. Как описать ее пробуждение в долинах эфирного света, без земной атмосферы, где все: горы, цветы, растительность, все изящно, разумно, и все звучит? И что сказать об этих лучезарных образах мужчин и женщин, которые окружают ее подобно священной процессии, чтобы посвятить ее в святую мистерию ее новой жизни? Что это: боги или богини? Нет, это такие же души, как и она сама; и чудо в том, что все их сокровенные мысли отпечатываются на их лице, нежность, любовь, мудрость просвечивают сквозь их прозрачные тела целой гаммой сияющих красок.

Здесь тела и лица более не маски души, но сама душа является в своем истинном виде, сверкая чистотой своей правды. Психея снова обрела свою божественную родину. Ибо сокровенный свет, в котором она купается, который исходит к ней в улыбке возлюбленных, этот свет блаженства.... Это – Мировая Душа и здесь чувствуется присутствие Бога!..

...Затем, трепещущая, она устремится к исходящему сверху свету на призыв посланников, окрыленных Гениев, которых зовут Богами потому, что они освободились от круга рождений. Ведомая этими высшими существами, она силится прочесть великую поэму сокровенного Глагола и понять доступную для нее часть симфонии вселенной. Она воспримет иерархические ступени божественной Любви; она попытается увидеть то, что рассеивается животворящими гениями в мировом пространстве; она узрит славных духов – живые лучи Бога Богов – и она не выдержит их ослепительного великолепия, которое заставляет бледнеть самое солнце.

Такова небесная жизнь души, жизнь, которую с трудом представляет себе наше огрубевшее на земле сознание, но которую угадывают посвященные и переживают ясновидящие, и в действительности которой убеждает закон мировых аналогий...

В древних эзотерических преданиях часто встречается представление об эфирных светилах, невидимых для нас, но составляющих часть нашей солнечной системы и ставших местопребыванием блаженных душ. Пифагор называет их антиподой земли, освященной центральным Огнем, т.е. божественным светом. В конце своего Федона Платон описывает подробно, хотя и не прямо, эту духовную землю. Он говорит, что она легка, как воздух, и окружена эфирной атмосферой.

Таким образом, в потусторонней жизни душа сохраняет всю свою индивидуальность. От своего земного существования она сохраняет только благородные следы, а остальное роняет в пучину забвения, которую поэты называли волнами Леты. Освобожденная от нечистоты человеческая душа чувствует свое сознание как бы вывернутым наизнанку. Из внешнего покрова вселенной она вошла внутрь: Пибелла – Майя, Мировая Душа снова заключила ее в свое лоно...

...Душа, став чистым духом, не теряет своей индивидуальности, но заканчивает ее, соединяясь со своим первообразом в Боге. Она припоминает все свои предшествующие существования, которые ей кажутся ступенями для достижения той вершины, откуда она охватывает и постигает Вселенную. В этом состоянии человек уже перестает быть человеком, говорит Пифагор, он становится полубогом. Ибо он отражает во всем своем существе неизреченный свет, которым Бог наполняет бесконечность. Для него равносильно знать и мочь, любить и творить, существовать и излучать истину и красоту...

...дух, достигнув этого высшего состояния, не может уже возвратиться назад; что если видимые миры изменяются и проходят, то невидимый мир, который служит их началом и их концом, – бессмертен.

...Истинные посвященные возвращались на землю после великого странствования более сильными, более совершенными и закаленными для жизненных испытаний». (Эдуард Шюре. Великие Посвященные. Калуга, 1914, с. 274-282.)

Все сказанное, несомненно, демонстрирует, что сам Низами как «хаким» (мудрец) был посвящен в тайны Мироздания.

ИЛЬХАМ ГАХРАМАНЛЫ

Песня цветов

Перешептываясь над вазой,
О своем увяданье горюя,
Всеми листьями, лепестками
Жажда свежей росы благодатной –
Ведут цветы свою песню...

Бережит человечью душу
Та унылая, горькая песня...
В их бутонах – любовные сцены,
На стеблях их – от ножниц раны.
Продолжают цветы свою песню...

Не поймешь – то ли это песня,
То ли дождь моросит по стеклам...
То ль молитва о ком-то близком,
То ли злое врагу проклятье.
Но цветов песня длится, длится...

Что за мука в чертах прекрасных?..
Воду в вазу я подливаю...
Ниспошли, Бог, друзьям моим совесть –
Тем, что ввергли меня в несчастье.
И цветы поют все о том же...

Обо мне поет эта роза,
О тебе – вон та, рядом с нею...
О сегодняшнем дне ненастном
Эта песня цветов печальных...

День кончается – брезжит новый.
Про себя напевая тихонько,
Славя сладость последней ночи,
Допоют цветы свою песню...

Руки

Грудь моя –
хижина
сердца-жильца.
Руки мои –
как овчарки пастушьи,
денно и ночью
вход стерегут...

Когда умру...

Расчеши меня гребнем своим и пролей
Мне в могилу немного любимых духов –
Вдруг и там мне придется «на людях» бывать...
Саван мой, как рубашку, бывало, нагладь,
Чтобы мог я пред ангелов очи предстать,
Если вдруг им захочется видеть меня.
Не ревнуй меня к ангелам Божьим, не злись,
Лучше в старом саду ты нарви ярких роз
И рассыпь над надгробием скромным моим,
Чтобы я среди ангелов тех не робел,
Отвечал бы им в лад, те вдыхая цветы.
Знаю я, было счастья немного со мной –
Ты прости меня ради подросших детей...

...Расчеши меня, мертвого, гребнем своим...
На могилу пролей благовонных духов...
Смятый саван мой верной рукою отгладь...

Письмо

Ты ушла без возврата – я умер...

Но вновь

В эту жизнь я вернулся из небытия.
Хоть спокойней мне было бы в мире ином,
Я вернулся сюда лишь к тебе, для тебя.

Но ни звука, ни весточки от тебя,
Чтоб откликнулся я на призыв дальний твой.
Слышал я – приболела...

Приду, исцелю,

Уведу все напасти и хвори с собой!..

Как кровавая рана в груди у меня
Этот след навсегда отлетевшей любви.
Ты, жестокая, не навестила меня –
В бездну канули месяцы, годы и дни...

Те, кто ходит в ночи истреблять соловьев,
И меня, милый друг, полоснули ножом...
Тот, кто сад истоптал, обломал все цветы,
Осушил, осквернил голубой водоем.

Словно льдина весной, тает, тает душа,
Воды темные скорби питая собой...
Ах, такие руины сегодня во мне –
Только сов не хватает порою ночной.

Ты в какую чащобу меня завела?..
До сих пор я обратной тропы не нашел,
Заплутал безнадежно я в этой любви,
До сих пор не очнулся, в себя не пришел.

Не по-божески ты обходилась со мной,
Равнодушной жестокостью душу казня –
Кто меня отлучил от меня самого,
Так небрежно-легко обесценив меня?!

Нет влюбленному в мире дороги иной,
Чем любить, как ему уготовил Господь...
Хоть бы мельком увидеть цветущий твой лик,
И я снова обрел бы и душу, и плоть.

Ты не станешь иной, я останусь собой...
Что же, мучь меня дальше, пытай, утешай,
И яви миру чудо жестокой любви:
Вновь и вновь убивай меня –
и воскрешай...

Любовная пытка

Равнодушно смотрел
На земные блага –
Лишь любовной тоскою
Томилась душа.
Но любовь захлестнулась
На шее петлей,
А любимая стала мне –
Палачом...

Дилемма

Забросил семью
Ради звонких стихов...
Но мысли о детях
Изъели меня.
Забросил стихи,
Обратившись к семье –
Стихи доедают меня,
Как болезнь...

У моря

Чайки кружятся –
глохну от криков...
Корабль держит путь –
куда-нибудь.
Порой, затоскуя,
сяду у моря:
ступить бы на волны,
уйти в дальний путь –
куда-нибудь...

Моему «брату», оставшемуся в Лачыне

Был брат у меня – старый тут¹.
Увы, остался в Лачыне² он...
Ростом он был – как бы лучше сказать –
со вздыбившуюся волну.
Ах, если бы нас вы увидели вместе,
как близнецов, отличить не смогли бы...
Иногда он немного жульничал в играх:
бывало, трягну его
ненароком,
он как обрушит ягоды градом!..
Испачкает соком мою рубашку,
девицам бороды пририсует –
ох, и проказник был этот мой брат!..
Вот вспомнил его –
и сердце заныло в тоске жестокой...
Жаль, не осталось мне даже фото –
я бы его увеличил, повесил
в доме своем
на стену пустую...

Лист

В руках моих лист,
облетевший с ветки –
весточка осени и разлуки...
Рябит земля,
но высок и ясен
свет дней вот этих.
И проступают поверх пейзажей
дороги – все те, что прошел когда-то,
распутья, где я стоял в сомненьях...
Вся жизнь –
день за днем –
напечатана четко
на листьях осенних...

На смерть солдата

Погиб он...
Срезалась с неба птица
В плотном строю
пробел остался
с очертаньями его тела
Погиб...
Невыкупленным осталось
у ювелира
кольцо невесты...

¹ Тутовое дерево, шелковица.

² Лачын – древний азербайджанский город, оккупированный армянскими бандформированиями.

Моему читателю

Я знаю тебя –
ты так же
в младенчестве
с плачем груди домогался.
Позже бежал вприпрыжку в школу,
дергал
девичьи косы...

Тебя я узнал –
ты тоже
летал в своих снах когда-то,
бежал по пыльной дороге
вслед
проходящим солдатам...

Когда через мост ходили,
крепко за руку тебя брали.
А помнишь –
ты часто маялся горлом,
и женщины средством народным,
палец в соль обмакнув,
лечили твои нарывы...

Да, да, я знаю –
и на тебя мир вот этот
в свой срок обрушился болью,
и ты навсегда обжегся
первой своей
любовью.

Будь богат или беден –
неважно:
без труда узнаю тебя всюду.
И у тебя есть рай недоступный,
и над тобою
всегда – повелитель...

Как знакомо:
даже вдыхая запах фиалок –
в сердце гнездится
извечный страх наш
перед пулей
случайной...

Перевод Алины ТАЛЫБОВОЙ

МИХАИЛ СМИРНОВ

(Россия)

Р А С С К А З Ы

Долгая дорога

Пантелей Иванчихин спустился с разбитой насыпной дороги и неторопливо зашагал по тропинке, поглядывая по сторонам. Смотрел на деревенские дома, которые были разбросаны там и сям по пологому склону холма. Избы, сараюшки словно спустились в низину, направляясь к извилистой речушке, что вилась между всхолмьями, по берегам заросшая кустами и вербами да желтели песчаные берега, а сама в заводях и звонких перекатах, где воля вольная для ребятни, где можно пескариков половить да искупаться в жаркий день.

Много лет прошло с той поры, когда Пантелей впервые попал в эту деревню. Колхозникам помогали на сенокосе. Шефская помощь, так сказать. Всех оставили на центральной усадьбе, а Пантелея загнали в глухомань, природой любоваться, как хотнул бригадир. Небольшая деревушка на пологом склоне холма, стариков много, а молодых можно по пальцам пересчитать. Определили на постой к Ангелине и Володьке Еремкиным. Старики, а их называли по именам, вроде, так и должно быть. И Пантелей стал звать старика, здоровенного скособоченного увальня – дядькой Володей, а бабу Ангелину, маленькую, худенькую, словно девчушка, ласково именовал – Гелюшка. Днем с колхозниками на сенокосе, а вечерами помогал старикам по хозяйству, то крыльцо подправит, то забор подлатает, то печку подмажет... Да что говорить, в деревне всегда работа найдется. Вот и крутился от зари до зари, пока командировка не закончилась. Уезжал, бабу Геля расплакалась и дядька Володька носом подхлюпывал, всё просили не оставлять их одних, а навещать при случае. С той поры, когда выпадало свободное время, Пантелей стал наезжать к старикам. Если долго не бывал, душа начинала ныть, словно напоминая, что нужно проведать стариков, и он виноватил себя, поедом ел... А потом собирал сумку, покупал гостинцы и тащился с пересадками на автобусах, чтобы день-другой провести со стариками, которые стали роднее родных. Да и каких родных-то, ежели вырос в детдоме, не зная ни мамки, ни папки – подкидышем был, и жизнь как-то не складывалась, вроде неплохой сам-то, а всё один да один, казалось бы, давно пора семью иметь, а ни жены, ни детей...

А ночью старики приснились, непонятная тоска накатила и душа не заныла, а словно в кулак сжали – душу-то, да так больно, что Пантелей не выдержал. Утром позвонил на работу, отпросился на пару-тройку деньков, достал с антресолей потертую сумку, бросил рубаху да трусы с носками, полил цветы на подоконнике, оставил ключи соседям, чтобы за квартирой присмотрели, и сам отправился в деревню, чтобы навестить Еремкиных.

...Промчалась машина по грунтовке. Вдогонку метнулась собака, загавкала. Облако пыли повисло над дорогой. Звучно чихнув, Пантелей кивнул замшелому ста-

рику, что сидел на такой же лавке возле дома.

– Здоров, дед Витяй, – сказал он, на ходу прикуривая. – Сидишь, на солнце греешься?

– Здоров, – чуть запоздало сказал старик, видать, дремал, прислонившись к забору, и, приложив ладонь лодочкой к глазам, взглянул против солнца. – Чей будешь? Сослепу не признаю...

– К Еремкиным приехал, – махнув рукой в сторону извилистой речки, сказал Пантелей. – К Гелюшке и дядь Володе.

– А, вот сейчас узнал тебя, – закивал дед Витяй, поправляя зимнюю шапку, не смотря, что на дворе было лето. – Молодца, что ездешь, а больше-то некому. Одни на белом свете. Помрут и похоронить некому, – и старик замолчал, прислонившись к щербатому, словно зубы, забору. Может, задумался, а может, опять задремал.

Видя по узкой тропке, мимо протарахтел старенький красный мотоцикл. На нем гордо восседал паренек по пояс голый, в выцветшем трико и галошах. Видать, чей-то внучок приехал на каникулы. И техника, как успел заметить Пантелей, скорее всего – первая, вон как неуверенно рулит по тропинке. А сколько еще будет на веку этих мотоциклов да всяких мопедов с велосипедами – не счесть. Но самый незабываемый – первый...

Заорал петух, взлетев на забор. Пантелей чертыхнулся, засмотревшись на мотоцикл, бросил окурочек в траву, свернул в проулок и по нему стал спускаться в сторону речки. Где-то мукнула корова. Следом зашла собака лаем. Видать, чужой во двор сунулся. А там, на взгорке играют ребятишки. Лето наступило и ребятня на каникулах. Привезли к старикам, на свежий воздух и парное молочко. А вон там два паренька направились в разрушенный коровник, прикуривая на ходу и пряча сигареты в руках. Боятся, взрослые увидят, накажут. Хотя все прошли через это. Одни раньше закурили, другие позже, а некоторые вообще не пристрастились...

Добравшись проулками до Еремкиных, Пантелей взглянул на обшарпанную избу, подмечая, что нужно подправить. На погребке крыша прохудилась, вон дранка виднеется, и земля вокруг просела – нужно подсыпать. Забор покосился. Некоторые штакетины сломаны, а то и вовсе не хватает. Из дыры появился любопытный пятак поросенка. Увидев Пантелея, чумазый поросенок дружелюбно хрюкнул, выбрался на улицу и потрусил вдоль домов по своим поросычьим делам.

Толкнув скрипучую калитку (нужно петли подправить и смазать), Пантелей зашел во двор, сплошь заросший спорышем. Вдоль забора разнокалиберная поленница. Где-то еще много, а в других местах всего ничего, почти до земли выбраны поленья. Видать, откуда ближе, там и брали. Осенью готовили дрова, укладывали в высокие поленницы и закрывали кусками рубероида, чтобы не намочило дождями. Ладно, на всю зиму хватило – это радует. Не мерзли старики. Кое-где на штакетинах висели банки, вон бидончик виднеется, а рядом сушатся линялые тряпки. Возле калитки в садик видны черенки от лопат и грабли торчат. Наверное, дядька Володя с Гелюшкой в саду возились. Загорланил петух, созывая свое семейство. Куры напегонки помчались, как-никак хозяин зовет. Пантелей присел на ступеньку широкого крыльца. Давно заметил, лучшее место для отдыха – крыльцо. Здесь можно с соседями поговорить, когда они заходят на минутку, а можно сидеть и смотреть на ночное небо в звездных россыпях и просто слушать ночную тишину. Пантелей поерзал на ступеньке, поудобнее устраиваясь. Устал, пока добрался. Поставил сумку на землю и стал осматриваться. Все то же, что и было. Ничего не изменилось за эти месяцы.

Месяцы? Пантелей нахмурился, подсчитывая. И, правда, не неделю, не две-три, а месяцы пролетели, пока выбрался в деревню. Закружился на работе и по работе, и после работы, аж штаны на ходу слетают. Замотался, пожрать некогда было. Раньше частенько проводывал, а сейчас... Он вздохнул, взглянул в садик. Вдоль забора разлохматилась смородина (осенью нужно ветви подрезать), рядом яблоньки, какой сорт – он не знал, но яблоки были маленькие и кислющие – страсть, а вон там вишня. Ягоды мелкие урождаются, а побеги от нее, как трава-березка, по всему садику лезут, не успевают вырубать, а они прут и прут, заразы. И по двору полынь да лопухи с крапивой островками разрослись. Надо бы косой пройтись, нечего двор сорняками загромождать. Пантелей достал сигареты. Закурил. Порыв ветра подхватил дымок, заволокло-запарусило белье на веревке, что провисла поперек двора, подпертая длинной слегой, чтобы по земле не волочилось. Видать, бабка Ангелина устроила постирушки. Конура возле огорода. Давно собаки нет, а конура так и стоит. Рядом разрезанный баллон от «Беларуси» и валяется шланг. Воду наливают утятам и гусятам – и пьют, и бултыхаются тут же. А вон там...

– Володька, лиходея криворукий, сколько говорить, не кури в избе, – донесся резкий тягучий голос. – Всё провонял, надымил, хоть топор вешай. Марш на двор, пока ухватом не получил!

– Ополоумела, старая, – раздался громкий хриплый голос. – Что выдумываешь, а? Что зазря рот раззявила? Я же перед тобой сижу, а разоралась, будто курю...

– А кто же тогда надымил, ежли не ты? Мы же вдвоем в избе. Значит, кроме тебя некому, – опять донесся тягучий голос Гелюшки. – Может, скажешь, что я пыхчу, а?

– Только попробуй, – захрипел старик. – Враз губы прижгу, ежли замечу. Это не госпиталь, когда раненым прикуривала. Ишь, чего удумала на старости лет – курить! Гляди у меня...

– Я те прижгу, – недовольно заворчала бабка Геля. – Глянь, какой смелый нашелся! Вот дождешься...

Так было всегда, когда Пантелей приезжал в деревню. Садился на крыльцо, где проводил со стариками большую часть свободного времени, и посмеивался, слушая, как беззлобно лаются старая Ангелина с дядькой Володей. Давно старики кукуют-доживают свой век в деревне. Гелюшка познакомилась с дядькой в конце войны, раненого вытаскивала из-под огня, моталась с ним по госпиталям, выхаживала после тяжелого ранения, а потом в деревню забрала. С той поры не разлучаются...

Заскрипела дверь. Донеслись легкие, неторопливые шаги, и на крыльце появилась Гелюшка: невысокая старушка, юбка в пол, сухонькое сморщенное лицо, платок по бровям, в глухой ситцевой кофточке в мелкий синий цветочек. Она, не глядя, ткнула ноги в обрезанные валенки, развернулась и охнула, чуть было не уронив алюминиевый таз с грязной водой. Сразу видно, постирушками занимается.

– Пантюшка приехал, – запричитала она, торопливо выплеснула грязную мыльную воду с крыльца, громыхнула тазом, бросила его на доски, присела рядышком и прижалась к Пантелею, заглядывая в глаза. – Наконец-то, дождалась. С дедом частенько вспоминаем тебя. Ни слуху, ни духу... Мы уж боялись, думали, что бросил нас, стариков-то. А ты взял и приехал. А почему не был долго, сынок?

– Заработался, – выпустив струйку дыма, сказал Пантелей. – А ночью, словно шило в задницу ткнули, я собрался и примчался. Захотелось вас увидеть, с вами посидеть. Что-то беспокойно на душе стало, тоскливо. Вот и прилупил. Как живете, Гелюшка? – и приобнял старушку. – Как ваше здоровье?

– Да нормально живем, грех жаловаться, – закивала она головой. – Прихварываем, но ничего, держимся. Правда, дядька Вовка стал в рюмку заглядывать. Ты бы поругал его, сынок. Разбаловался на старости лет. У, дожدهшься у меня, лиходея косорукий! – и потешно погрозила сухоньким кулачком.

– Меня звала, что ли? – появилась лохматая кудрявая башка старика и, скобочившись, он вышел на крыльцо, лицо, наполовину обожженное – сплошь один большой бугристый шрам, который терялся где-то под рубахой. – А что расселись-то? – он взглянул на Пантелея и сказал, словно не было нескольких месяцев расставания, будто Пантелей со двора вышел и вернулся. – Айда в избу, сынок. Мать, по-вечерять бы, солнце за горой скрылось. И это еще... Пузырек бы...

– Уже с утра занырнул в бутылку, – сразу же заворчала бабка Геля и споро поднялась. – Знаешь, Пантюша, сделаю настойку для питья, для растирания, подалее запрячу, а он, сволота этакий, находит, – беззлобно обругав, она всплеснула руками. – Не успею глазом моргнуть, Вовка лыка не вяжет. И когда успевает – не понимаю. Ну не зараза ли? – и подтолкнула Пантелея. – Солнце на закат повернуло. Вечерять пора, сынок. Айда в избу, айда. Сейчас стол накрою и посидим...

И все так легко, так просто, словно не расставались.

Пантелей приостановился на веранде. Низенькая, но просторная, вся увешанная вязанками душицы, иван-чая посредине, особенно мяты много – вдоль речки в сырых местах косою коси, а в углу зеленели березовые веники, уже заготовили на всю зиму. Вон, какие мягкие и духмяные! Возле двери, на вбитых гвоздях плащ с большим капюшоном, тут же кнут виднеется. Давно корову продали, а кнут висит. Здесь каждый хозяин в деревне имеет свой кнут, так принято, а некоторые с собаками пасут, чтобы волки не подходили, и с коровами легче управляться. К плащу притулилась серая фуфайка, грязная тряпка из кармана торчит, и тут же коричневая кацавейка с потертым мехом. Под ними ряд разномастной обуви: драные тапки, разнокалиберные галоши, зимние боты «Прощай молодость», сапоги резиновые, сапоги кирзовые: стоптанные и поновее – выбирай на любой вкус. А за дверью, где большущий сундучище, там, за занавеской много лет стоит сломанный сепаратор, а выбросить жалко. В конце веранды старый буфет с оторванными дверками. Кто его смастерил, даже старики не помнят. Два серпа подоткнуты под крышу. К стене прибита полка (Пантелей сделал) и там всевозможные баночки, коробочки и прочая мелочевка, которую никогда не замечаешь, но она всегда нужна в хозяйстве.

– Пантюшенька, что застыл, аки столб посередь двора? – раздался протяжный говорок старухи. – Забыл, где дверь находится? Проходи в избу, сынок, и занавеску опусти, а то мухи налетят. Сейчас на стол спроворю и повечеряем.

Пантелей наклонил голову, чтобы не удариться о притолоку, и перешагнул порог. Справа раскорячилась большая печь. Опять нужно подмазывать. Видать, дрова заносили, всю ободрали. На печи подушка и лоскутное одеяло. С мороза ввалишься в избу, шубейку и валенки скинешь, и быстрее на печку – у-у-у, хорошо! Слева от двери рукомойник, под ним помойное ведро. Возле раковины полочка, там мыло, а на гвозде висит серенькое полотенце. На лавке ведро с колодезной водой и ковшик. А возле окошка стол с клеенкой, на нем большая солонка и блюдце с конфетами. Скорее всего, дешевая карамелька. Не шибко-то разбежишься на стариковскую пенсью, не пошикуешь. Возле стола ободранные голубенькие табуретки. Цветут гераньки. Горит лампадка, едва заметен темный лик на старой иконе. Громко тикают ходики. Дверь в горницу прикрыта, чтобы мухи не налетели.

Пантелей громыхнул табуреткой, поставил сумку и принялся вытаскивать свертки, кульки и кулечки, разные пакеты, коробки спичек, мыло и прочую мелочевку, раскладывая на столе. Для дядьки Володи гостинец – несколько пачек «Примы» – вонючие, зараза, а крепкие – страсть! Старик любит такие. А для бабки Гели разыскал гребешок и маленький флакончик духов «Красная Москва». Вроде мелочь, а она обрадовалась! Скинула платок на плечи, несколько раз пригладила седые волосы, воткнула гребень, капельку духов на себя, и словно помолодела, морщинки разгладились, и заулыбалась, поводя плечиками. Угодил.

И сразу захлопотала возле стола. Загремела щербатыми тарелками, зазвякала ложками. Вытащила несколько соленых огурцов, квашеной капусты в пятнышках укропа, на столе матово поблескивали грузди, желтело старое сало, пучок зеленого лука притащила с огорода, две головки чеснока. Крупно нарезала хлеб. Громыхнула чугунком с картошкой в мундирах, а рядом поставила банку молока.

Пантелей погромел рукойником, умылся, утерся полотенцем и быстрее за стол – проголодался за долгую дорогу, пока добрался до деревни. Уселся и сразу же потянулся к чугунку.

– Погодь, сынок, погодь, – остановила бабка Геля и торопливо скрылась в горнице. – Сейчас достану бутылку. С мятой настаивала, запашистая – страсть, а вкусная – у-у-у! – она причмокнула на ходу.

Дядька Володя потянулся было за картохой, потом зыркнул вслед и напрягся, внимательно прислушиваясь.

Она чем-то гремела в горнице, шуршала, передвигала, а потом донеслись поспешные шаги, Ангелина появилась на кухоньке и громыхнула бутылкой об стол.

– Ну не зараза ли? – уперев руки в бока, сказала бабка Геля и посмотрела на мужа, который сидел, отвернувшись к окну, словно его не касалось. – Вот глянь, Пантюша, этот лиходей уже половину вылакал. Скажи, когда успел, ежели токмо утром сунула? Когда узрел, а?

Старик сидел, упорно рассматривая яблоньку за окном, и поглаживал изуродованную щеку. Так было всегда, когда ругалась Ангелина. Сядет, нахохлится, словно воробей, и будто ничего не видит, ничего не слышит.

– Что, дядька, гоняет тебя Гелюшка? – хохотнул Пантелей и, выловив горячую картофелину, обжигаясь, принялся чистить. – Правду говорят, что мал золотник, да дорог.

– Мала блоха, да кусаться лиха, – буркнул старик и утробно рывкнул, когда Ангелина крепко хлопнула по заливку. – Вот, Пантюха, сам посуди, откуда у этой пугалицы столько вредности? Никакого покоя, никакого...

– Лихоимец кривоглазый, кто же из початой бутылки угощает, а? – продолжала ругаться бабка Геля. – Да и ту, чать уже разбавил...

– Не успел, кажется, – буркнул старик, снова потянулся за картошкой и отдернулся, когда жена снова хотела вlepить затрещину. – Гелька, брось! А ты другую достань, а эту на место приткни – пушай настаивается. Всё же сынок приехал...

– Так и норовишь лишний раз заглянуть в рюмку, – привычно заворчала Ангелина, но не стала убирать початую бутылку, а снова взялась за нее, разлила по рюмкам и подняла, взглянув на мужиков. – Ну, провались земля и небо, мы на кочках проживем. За приезд, Пантюша! – и стала неторопливо пить.

Дядька Володя опрокинул стаканчик, даже не утерся, почмокал губищами, зыркнул на Пантелея, потом на жену и молчком заторопился на улицу, прихватив привезенные сигареты.

Бабка Ангелина выпила, передернула плечиками, хотела было поморщиться, но с недоумением взглянула на рюмку, понюхала, в ладошку вылила остатки, попробовала на язык и взъерепенилась.

– От, обормотина криворукая, – она развернулась и потешно погрозила кулачком. – Не разбавлял... Ну точно, вчистую выпил, только мятой пахнет. Выпил, а ведь сидит, и ни в одном глазу. Ведро нужно, чтобы его спить. От, обормот, – повторила бабка Геля. – Я же говорю, все мои лечебные бутылки разыскал. Никуда не спрячешь. Нюх, как у собаки. Вот дождешься, вторую руку заверну крючком, тогда в колоду превратишься, ирод, – и снова погрозила. – Уговаривать станешь, чтобы с ложки покормила...

И, покачивая головой, бабка Ангелина продолжала ругаться, то и дело всплескивая руками.

А Пантелей сидел, слушал привычные беззлобные причитания бабки Гели (так было всегда, и дальше слов дело не заходило), посмеивался над стариками, а сам чистил картошку, похрустывал огурчиками, зеленым луком, пальцами хватал капусту и отправлял в рот, запивал колодезной водой и снова тянулся к какой-нибудь тарелке. А когда наелся, шумно вздохнул и, прислонившись к стене, достал сигареты, но не стал прикуривать, зная, что бабка Геля на дух не переносит табачный дым в избе.

– Марш на крыльцо, там дыми с этим оглоедом, – махнула рукой старушка. – А я пока чай подогрею, – и загремела чайником на плите. – Потом с баранками да медком пошвыркаем.

Пантелей присел на широкую ступеньку рядом со стариком, вытянул сигарету и закурил.

– Гелька лаетса? – спросил старик и, склонив голову, искоса посмотрел. – Ну, из-за бутылки-то...

– Да нет, не ругается, просто ворчит, как обычно. Просила с тобой поговорить, что в рюмку заглядываешь. Дядька, перестань, ты же знаешь, я не уважаю эти рюмки, – пыхнул дымом Пантелей и сказал: – Так и воюете с Гелюшкой?

– А что нам делать? – просипел старик. – Скучно жить, когда всё гладко. А так она гавкнет, я рявкну и на душе веселее. С войны воюем, когда повстречались, – старик вытряхнул сигарету, ловко вставил спичечный коробок между коленями, чиркнул спичкой и прикурил, попыхивая. – Сам-то как живешь, Пантюш? Что долго не приезжал, а? Гелюшка все глаза проглядела, тебя ждала. Скучает она, да и я тоже, – и опять пыхнул, скрывшись в густом дыме.

– Закрутился на работе, дядька Вовка, – задумавшись, неторопливо сказал Пантелей, осматривая двор. – Здесь картошку выкопали, дрова заготовили, в город вернулся, а меня в колхоз отправили. Почти месяц там были. Едва появился на работе, заявками завалили. Зима на носу. Одни рамы просят, другие двери заказывают. Утепляются. А весной, не поверишь, словно мор в городе прошел, почти каждый день гробы делали. Не счесть, сколько сделали. Тяжело. Лето наступило, опять хотели в колхоз отправить, как шефскую помощь, но я отказался. Пусть другие помотаются, как мне приходилось. Я и так, как белка в колесе – все дни на работе, а в свободное время на шашки бегал. Деньги нужны были. Вот и откладываю каждую копеечку. А этой ночью вы приснились, – он сказал и стукнул по груди. – И вот здесь как заболело, как защемило, до утра просидел возле окна, пачку сигарет искурил, вас вспоминал, а утро настало, я за телефон, отпросился и к вам помчался. Вот сижу с тобой, и душа радуется, словно в дом родной приехал.

– Деньги нужны, говоришь... – поглаживая обожженную щеку, сказал старик. – Нам бы сказал. У бабки есть, а ежли не хватит, пенсию получили бы и добавили...

– Ну да, придумал – вашу пенсию взять, – вскинулся Пантелей. – Вы и так копейки получаете. Сказал тоже – у вас, – повторил он. – Вам нужно помогать, а не с вас тянуть. Сам заработаю. Вот вернусь, зарплату получу и думаю, что наскребу.

– Ну, а деву-то нашел или холостякуешь? – продолжал расспрашивать старик. – Одному жить, только время терять. Ни бабы, ни ребятни... Плынешь по жизни, как дерьмо по течению – ни себе, ни людям.

– Скажешь тоже – дерьмо, – усмехнулся Пантелей. – Вам легко говорить – баба, а где возьму её, если с работы не вылезаю. Хорошая девка сама не придет, а шалаву не хочу.

– Там же город, значит и девок побольше, – старик кивнул головой. – Это в деревне почти никого не осталось. Правда, поговаривают, что некоторые хотят вернуться – не прижились в городах-то, да и что делать там – суетня, да и только, – он пренебрежительно махнул рукой.

– Правду говоришь, дядька – суета, – задумчиво сказал Пантелей, сорвал травинку и стал жевать. – Там, как белка в колесе – крутишься, крутишься, вроде много работы переделал, а вечером оглянешься – ерунда и только, и устаешь, как собака. Домой вернешься, что-нить пожевал и быстрее на диван. Не успел телевизор включить, уже глаза закрываются. И так постоянно. Всё бегом и бегом. А сюда приеду, душа радуется. И все дела успеваю сделать, и с вами насижусь, наговорюсь – хо-рошо! Даже возвращаться не хочется...

– Вот и живи у нас, ежли тебе нравится, – сказал старик. – Давно пора сюда перебраться. Я, как приехал с Ангелькой в деревню, ни разу не пожалел. Не понимаю тех, кому не нравится деревня. Вон, возьми Алешеньку Килюшкина, – он ткнул в сторону заколоченного дома, что стоял рядышком с ними – за забором. – Такая добротная изба – живи не хочу, а он, когда родителей схоронил, собрался и умотал в город. И радуется, дурачок, что освободился. От чего, я не могу понять? Ты же не для дядьки чужого, а для себя скотинку держишь, для себя огород садишь, а в городе всё нужно покупать – никаких денег не напасешься. Ну, это еще ерунда – деньги, а вот, как с соседями ужиться? Разве всех упомнишь – столько народищу? Вот и получается, что вроде бы город – это хорошо, там всё есть, что душе угодно, а человек в нем теряется, исчезает в этой огромной толпе, он же – букашка малая, ладно, ежли не затопчут. Смотришь на людей, а они все на одно лицо, словно под копирку сделаны. И куда-то бегут, бегут – всю жизнь торопятся...

– Я встречал Килюшкина, – сказал Пантелей и полез в карман за сигаретами. – В домоуправление устроился. Сантехником работает. По заявкам бегаёт: краны чинит, унитазы чистит, засоры...

– Алешенька уборную чистит? – лицо старика сморщилось в страшной улыбке, если так можно назвать гримасу на обезображенном лице. – А, ну да, всё правильно, за чужими дерьмо убирать – это лучше, чем свою картоху на огороде выращивать. Мастер по дерьму. О, как звучит! Ради этого стоило в город переезжать, – и тут же повернулся к Пантелею. – Слышь, сынок, правда, кто-то покупает или уже купил его избу. Бабки в деревне болтали. Не слыхал?

– Да нет, – Пантелей пожал плечами. – Это в деревне всё и про всех знают, а в городе такого нет. Там не принято...

– Вот и я говорю, – перебивая, махнул рукой старик, – что в городе каждый для

себя живет. Упадешь на улице, через тебя перешагнут и дальше пойдут, а тех, кто остановится, таких можно по пальцам пересчитать. Вот и получается, что человеческая жизнь не ценится. Все живут и грызутся, как собаки, – и вздохнул. – Что людей в города тянет – не понимаю...

Пантелей промолчал, пожимая плечами. И правда, что тянет людей в города? Да, там есть всё или почти всё, живи и радуйся, но получается, что старик-то правильно говорит. Сам же видел, как люди шли, сторонясь лежавшего на земле. Одни смеялись, другие брезгливо отворачивались, а третьи, чуть ли не на него наступали, чтобы перешагнуть, и ни один из них не остановился, не спросил, что с человеком. А потом подбежала маленькая девчушка и затормошила его, позвала подружек, и оказалось, что у него был приступ. Скорую помощь вызвали, в больницу увезли. Вот и получается, чем старше человек становится, тем сильнее душа черствеет, если сравнивать взрослых, кто мимо прошел, и девчушку, которая пожалела человека и остановилась. У детей души чистые, а взрослые не хотят помогать или не замечают беды, а может, жизнью затурканы в городах-то, где приходится бежать, мчаться, лететь сломя голову, чтобы чего-нибудь добиться в жизни, и то, ежели успеешь, ежели раньше времени не споткнешься и не вылетишь на обочину этой самой жизни...

Пантелей не винил город и людей, там живущих. Каждый выбирает свою дорогу, свою тропку. Одни руками-ногами отмахиваются, лишь бы в деревне не жить, потому что город для них – это дом родной, где каждый закоулок, каждый камушек знают на дороге. Иные живут, потому что привыкли к этой жизни. Некоторые, как перекасти-поле, когда надоест в одном городе, они уматывают в другой город. А есть такие, кто не нашел себя в этих каменных джунглях, где всё для них было и осталось чужим. Ну, не смогли найти свое место в городе, а вот какая-нибудь избушка в глухомани или шалаш на берегу речки, где бормочут перекасты – это самое уютное место, где душа отдыхает, куда тянет и тянет каждый раз, едва выпадает свободное время. Но таких единицы. И к таким приписывал себя Пантелей, когда на пути у него встретились старики, к которым прикипел душой и поэтому приезжает в глухую деревню, где душа радуется каждому отведенному дню, каждому увиденному восходу и закату, где проводит стариков, мчится сюда, едва выпадает свободное время. Пантелей встретился, посмотрел по сторонам, опять закурил и сгорбил, задумавшись...

Старики давно зовут в деревню. Если посмотреть, никто и ничто не держит его в городе. Жизнь как-то не сложилась. Ни семьи, ни родственников. Утром на работу, вечером с работы, и так ежедневно, еженедельно, ежемесячно – из года в год... Одна радость в жизни, что встретился со стариками. Сюда приезжал, словно к родителям возвращался. И они по-доброму относились к нему, за сына считали и всегда поджидали, когда он приедет. Так и получилось, что чужие старики заменили ему родителей, которых не было в его жизни...

– Эх, красотища! – неожиданно вскинулся он и обвел рукой оком, показывая. – Глянь, дядька, какие густые леса вокруг, а горы высоченные, а вон облако, словно за горную вершинку зацепилось и отдыхает, а там видно, как речушка течет-извивается – ее по кустам и по черемухе заметно, что по берегам растут, – и тихо повторил: – Красота какая...

– Красота бывает разной, – нахохлившись, буркнул старик. – Она не только в природе, но и в человеке, в его душе должна быть, а вот у меня была своя красота, – он помолчал, потом сказал. – Когда в госпитале сняли бинт с одного глаза, и я увидел свет, увидел лица раненых, лица медсестер и врачей, вот они показались мне са-

мыми красивыми на белом свете – это была моя красота...

Сказал и умолк, о чем-то задумавшись.

И Пантелей молчал, не перебивая старика.

Долго сидел старик, потом встрепенулся, привычно прикурил одной рукой, погладил обожженную щеку и в который раз, словно в первый, принялся рассказывать, как познакомился с женой, с Ангелиной.

– Весна была. Фашистов добивали. Наш танк вырвался вперед. А на окраине городка попали в засаду. Первым же выстрелом подожгли нас, а потом принялись садить в нас, как в мишень. Выбрался из танка, сам факелом горю. Так и бежал, пока в какой-то ручей не упал. Там валялся, половина в воде, а вторая половина горит. Наверное, поэтому фашисты не добились. Подумали, что мертвый лежит.

Очнулся, меня тащили. Кто-то надо мной плакал, ругался. Глаза не открываются, слиплись. Шевельнуться-то больно, а меня по камням волокут, да еще костерят, на чем свет стоит, что такого борова приходится таскать. Почему-то запомнил. Странно даже... И голос запомнил: тоненький, словно ребенок. Не знаю, как дотащили до наших. Я был без сознания. Очнулся на столе, когда с меня одежду сдирали вместе с кожей. Больно... Нет, не больно, даже такого слова не подберешь, чтобы это передать... – старик задумался, опять закурил и запыхал: быстро, густо и болезненно. – Снова потерял сознание. Говорят, много дней не приходил в себя. Думали, не вытяну, концы отдам. Шансов не было. Никаких! Половина туловища обгорела, а руку собирали по кусочкам. Так и лежал бревном, весь в бинтах. И почему-то показалось, что опять меня волокут. И снова голос знакомый донесся. Тот, девчоночий. И тормозит меня, и толкает. Хочу матюгнуться, не получается. Глаза не открываются. Думал, что ослеп, выжгло мои глазоньки-то. Ни руками, ни ногами не могу пошевелить. Одним словом – бревно, но пока еще живое. Очнусь, голос знакомый, а чуть погодя проваливаюсь в темноту и начинаю воевать, а меня удерживают, не дают подняться. Опять на секундочку приду в себя, и снова тьма перед глазами.

Когда уж полностью очнулся, оказалось, что война закончилась. Все празднуют, по домам разъезжаются, а меня из госпиталя в госпиталь переводят. И всегда рядышком слышал тоненький голосочек. Думал, голова повредилась. А потом, когда с одного глаза сняли повязку, смотрю и правда, возле койки медсестричка сидит, больше похожа на девчущку, чем на бабу. И голос услышал. Опять показался знакомым. Она рассказала, как вытаскивала меня из-под огня и тащила на плащ-палатке до санбата. И костерила: громко, сильно, всяко. Раненых стали отправлять в тыл. Я был тяжелым. Она напросилась сопровождать. И так стала кочевать со мной по госпиталям. Сама маленькая, тоненькая, словно тростинка, а духу в ней столько, что на роту хватит. Сколько спасла людей – не счастье, а скольким помогла, когда были готовы в петлю сунуться из-за боли и того, что обрубками не хотели жить – этого никто не ведает, лишь она знает. И меня вытащила с того света. А потом, когда немного оклемался, увезла в деревню. Так и остались здесь...

И старик опять задумался, изредка дотрагиваясь до высохшей изувеченной руки – плетью свисала.

– Кричу, кричу, а они сидят, не слышат, – на крыльце появилась бабка Геля. – Ишь, разворковались, голубчики, закурились! Айда в избу, чаёк вскипятила...

– Я слушаю, – сказал Пантелей, прислонившись к перилам. – Дядька Вовка рассказывает, как ты от смерти спасала его, как выхаживала...

– Ай, не верь ему, – махнула рукой бабка Ангелина. – Врет старый, врет. Давно

было, всё быльем поросло. Хватит расслаивать. Чай остынет. Айда в избу, пошвыркаем. С травками, с мятой заварила. Душистый – страсть! Медок поставила. Сосед угостил. У-у-у, вкусный! – она причмокнула.

Сказала, а потом присела рядышком и взглянула на Пантелея.

– Знаешь, Пантюша, всякое в жизни бывало, разве всё упомнишь, – она поправила платок на голове. – Война – это страшно. До сих пор снится, как раненых вытаскиваю, а повсюду кровь, кровь и боль, такая боль, что выть хочется... – и кивнула на мужа. – Вон, Вовка, сколько ему пришлось испытать – ужас! Другой бы давно помер, а он с того света вернулся. И не один раз там побывал и вернулся. Да вот, сынок... До сих пор вспоминаю, как его, борова этакого, на плащ-палатке тащила. Откуда только сила взялась – не понимаю. Отовсюду стрельба доносится, не поймешь, откуда стреляют, пули свистят, снаряды взрываются, а я тащу и тащу. Упаду, сама плачу, его ругаю, а он лежит и не шевелится. Глянуть страшно было. Половина тела грязная и мокрая, а вторая половина обгоревшая. Потрогаю пульс, ниточка еле бьется. Опять хватаюсь за край палатки и волоку, а сама слезами заливаюсь. Пока до наших дотащила, у меня не только фуфайка, даже пилотка была прострелена, и на нем живого места не было, но еще дышал. Значит, нас Боженька оберегал, Пантюша. Значит, он решил, что мы нужны в этой жизни. До медсанбата добрались. Там его определили. Дальше опасались увозить. Не выдержит. Там же встретила победу. Потом тяжелых повезли в тыл. И я с ними напросилась. Так и кочевали из одного госпиталя в другой, пока не стал поправляться. А самое страшное было, скажу тебе, сынок, когда Вовка увидел себя в зеркале. Думала, руки на себя наложит. Жить не хотел. Ни на шаг от него не отходила, лишь бы что с собой не натворил. На табуретке спала, не отлучалась, лишь бы его на ноги поставить. А потом, когда Володьку списали вчистую, уговорила сюда приехать. Старый врач в госпитале сказал, что его нужно в деревню, чтобы к себе привык, к новому обличью, и нужно было силы восстановить. Привезла, а нашу избу отдали беженцам. Поселились на краю деревни в полуразрушенной избе и стали жить... – она замолчала, лишь изредка покачивала головой, вспоминая прошлое.

И Пантелей молчал, опасаясь нарушить воспоминания стариков. Он многое раньше слышал, а что-то впервые рассказывают. Не любят старики вспоминать войну. Особенно при людях не разговаривали. А вот так, как сейчас, присядут на крылечке, прислонятся друг к дружке, нахохлятся, словно воробышки, и беседуют, дополняют, и всё неторопливо так, над каждым словом задумывались, а Пантелей рядышком пристроится и старался не потревожить стариков ни словом, ни движением. Всё ждал, когда они продолжат или наоборот, прервут воспоминания, и всё на этом. И не допросишься, чтобы рассказали про ту жизнь, которую он знал лишь с чужих слов да со слов стариков.

– Я устроилась дояркой, а потом меня в бригадиры выбрали – бойкая была, – продолжила вспоминать старуха. – Володька сидел дома. Никуда не выходил. Не хотел пугать других своим видом. И так соседи косо посматривали, а ребятня, та стороной обходила нашу избу – «бабайку» боялись, как Володьку прозвали. Вот ему и приходилось скрываться ото всех. Дома сидел да по хозяйству ковырялся, сколько силы хватало. Да и какой из него помощник – с одной рукой? Вторая-то плетью висела. Весь испсихуется, изматерится, потом побросает инструмент и сидит, курит одну за другой. Злитесь, что не получается. Вернусь с работы и сама начинаю делать. А его на подхвате держала. Все приходилось делать: землю копала, отростки сажала, уро-

жай собирала, если было что собрать, избу латала. А куда денешься? Жить-то нужно. И потихонечку Володьку приучала одной рукой управляться, – и неожиданно рассмеялась, взглянув на мужа. – Научила на свою голову...

Старик нахмурился, если можно так назвать гримасу на обожженном лице, хотел было что-то сказать, а потом отвернулся, словно его не касалось.

Посмотрев на него, Пантелей взглянул на старуху.

– Чему научила, Гелюшка? – сказал он. – Что учудил дядька?

– В том-то и дело, что учудил, – опять засмеялась старуха и подтолкнула мужа.

– Что отворачиваешься, Вовка? Признайся Пантюше, что натворил.

– Скоро на погост снесут, а до сей поры вспоминаешь, – буркнул он, продолжая смотреть куда-то в сторону и не удержавшись, съязвил: – Видать, по нраву пришло, ежли не забываешь...

– Ты знаешь, Пантюша, мы же расписались с ним через год, как сюда приехали, – сказала бабка Ангелина и кивнула, поправляя платок. – И в сельсовет пошли после того, как он...

– Эть, ну бабы! – перебивая, опять забубнил старик. – Не языки, а помело поганое! Ничем не остановишь.

– Жизнь на закате, так чего же скрывать от Пантюшки? – бабка Геля посмотрела на него. – Пусть знает. Он же свой человек, роднее родного, можно сказать, сынок наш, – и продолжила: – И вот, сынок, видать, я слишком переусердствовала с травками и отварами, когда его ставила на ноги. Всё жалела, всё для него старалась, выхаживала, а он... – она выдержала паузу, глядя, как заелозил на ступеньке муж и опять продолжила: – А он, когда мы почистили погреб и я в старенькой баньке принялась его купать, как обычно – его раздела, сама разнагишалась... Ведь сколько раз до этого мыла и ничего не случалось. А в тот день, мой охламон вцепился в меня... Я хотела было вырваться, да куда там! Разве от такого бугая вырвешься? Так ухватил, что не продыхнуть. В баньке тепло, он разогрелся, мужиком пахнуло, да так, что я сомлела. Ну и того... В общем, мой Вовка мужскую силушку в себе почуял. Видать, решил отыгратсья за молодые годы, да за годы войны, и дорвался, пока я ослабела духом и телом. Так измахратил меня, словно упущенное время наверстывал.

– Чего сделал? – сначала с недоумением посмотрел Пантелей на бабушку Гелю, потом на старика, который сидел, отвернувшись, и словно его не касалось, неторопливо покуривал, а потом расхохотался. – Измахра... Получается, что дядька того самого...

– Ага, того и самого, – вслед пыркнула старуха. – Главное, не остановишь его... Навалился боров этакий, я рученьки раскинула – вся сомлела. И он воспользовался ситуацией, до утра показывал, на что способен. И ведь ничего не поделаешь – это жизнь, – она засмеялась, потом бровки сошлись на переносице. – И вот после этого я поняла, что мой Вовка вернулся к жизни. Через день расписались в сельсовете и стали жить. А вот Боженька детишек не дал. Видать, моих ребятишек забрала война, когда я в жару и холод, в дождь и грязь, надрывая живот и жилы, вытаскивала наших мужиков с поля боя, спасала, чтобы они вернулись в жизнь. Вот на этих-то самых полях и остались мои ребятишки...

Она задумалась, поглядывая вдаль. Наверное, опять войну вспоминала и своих нерожденных детишек, а может, думала про раненых, кого выносила с поля боя. И сколько до сей поры вспоминают ее, маленькую девчушку-санитарку, которая спасала солдатские жизни – этого никто не знает, даже она сама.

– А самое чудное, что мой Вовка приглянулся нашим бабам, – неожиданно сказала Ангелина и потрепала мужа по волосам. – Ладно, не отворачивайся. Что говоришь? – она повернулась к Пантелею. – Не понял... Вовка стал нарасхват, я бы сказала, – и засмеялась: тоненько, заразительно, всплескивая руками.

Пантелей переводил взгляд с одного на другую, не понимая, что так рассмешило старуху, и сам не удержался и, поглядывая на бабушку Гелю, мелко затрясся в долгом смехе. Старик зыркал, зыркал, хмурил единственную сохранившуюся бровь, потом пробежала улыбка-grimаса по обожженному лицу, и он засмеялся, захыкал и махнул рукой.

– Ты, Гелька, сорока, – сказал старик. – Лишь бы потрещать...

– Это наша жизнь была, плохая или хорошая – но наша, – вытирая слезы, сказала старая Ангелина, а потом посерьезнела. – Знаешь, сынок, а я не держу обиды на своего Вовку. Хотя... – она задумалась, прищурившись, посмотрела вдаль, словно в прошлое заглянула, и опять сказала: – Хотя была обида, когда Вовка первый раз от меня к другой бабе завернул. Сразу почуяла. Меня не проведешь. Чужой бабой пахнуло от него. Всё ему выговорила, в глаза вылепила, что ты, кобелина проклятый, когда горел, что же у тебя в штанах-то ярким пламенем не полыхнуло, а потом посмотрела на наших баб. Да они же высохли без любви-то, в тени превратились. Ведь если подсчитать, всего ничего с войны вернулось мужиков-то, а остальные там остались лежать. А ведь у каждого жёнка была, а некоторые вообще уходили на фронт со своей свадьбы. И остались наши вдовушки недоцелованными, недолюбленными. Вот в чем дело-то, Пантюша! Я ведь понимала наших баб, сама прошла через войну, каждый день видела смерть, и у меня вот здесь всё сжималось, когда смотрела в глаза наших вдовушек, – она кулачком постучала по груди. – И я отпустила Вовку... Отпустила, хотя знала, что никуда от меня не денется. Просто сделала вид, будто ничего не замечаю. И понимаешь, Пантюша, наши бабы стали расцветать. Нет, он не бегал за юбками, не ночевал у других вдовушек, а вот поможет бабам по хозяйству или остановится на улице, скажет одной ласковое слово, другой, третью обнимет, а четвертую просто чмокнет, и они радовались, что рядом с ними настоящий мужик, хоть и войною искалеченный. И ребяенок есть. Да, так получилось... У Алевтины Глуховцевой родился. Знаешь, она радовалась этому, и я с ней, потому что, если мне Боженька не дал детишек, нужно уметь радоваться за других. Алевтина была одна на всем белом свете, хоть в петлю лезь, а родила ребятенка, и жить захотелось. Она не претендовала на Вовку, нет. И другие бабы не сманивали. У каждой своя судьба, своя беда и свои радости в этой жизни. И если мой Вовка чем-то помог нашим бабам, значит, так тому и быть, значит, так и должно было случиться.

И опять надолго замолчала. Сидела, покачивала седой головой, взглядывала на старика, на Пантелея, едва заметно шевелились губы, видать, что-то шептала, а потом опять уставится куда-то вверх голов и молчит, о чем-то думает.

Пантелей тоже молчал. Сидел, посматривая в темное небо. Рассыпались мелкие звезды, перекатываются, перемигиваются друг с дружкой, в хороводы выстраиваются. Набежит ветерок. Набросит покрывальце на небо, звезды сбледнеют, а потом снова загораются, еще пуще перемигиваются...

– Вот уже и жизнь пролетела, – неожиданно сказала бабушка Геля. – Казалось бы, долгая жизнь-то, а оглянись, и увидишь, что она всего ничего, не успеешь глазом моргнуть, а жизньюшка промелькнула, и нет её. Вот доскрипим с Володькой, докукуем свой век и всё – отнесут на погост. И радуемся со стариком, хоть на склоне лет у нас

появился ты, – старуха погладила по плечу. – Каждый день ждем, что приедешь, наведишь нас. Почаще бывай, Пантюша. Нам ничего не нужно, главное, что приедешь, вот так на крылечке посидишь с нами, как сейчас, поговоришь, и хватит нам, старикам-то. Правда, Володь? – и она обняла мужа за плечи.

Старик привычно растер обожженную щеку, поправил искалеченную руку, висевшую плетью, а потом неловко погладил по голове жену.

– Правда, Гелюшка, правда, – засипел он. – Каждый день ждем. Мы не просим многого. Просто приезжай, проведай стариков.

– Приеду, – сказал Пантелей и взглянул в сторону соседнего дома. – Загадывать не стану, но надеюсь, к осени переберусь в деревню. Ищи невесту, мамка, – он впервые так назвал старую Ангелину.

– Неужто Алешенькину избу сторговал? – всплеснула руками баба Геля, перехватив его взгляд. – Вот оказывается, кто покупает. И до сей поры молчал, сынок. От нас скрывал, от самых близких. Да мы любую невесту для тебя сосватаем, только покажи, какая глянется. Глядишь, ребятишки появятся. Вот радость-то будет для нас, стариков! Правда, Володь? – она погладила мужа по плечу.

– Правда, но обмыть нужно – это факт, – покосился старик.

– Ты же, черт горелый, всё вылакал, что я попрятала, – бабка Геля толкнула мужа.

– А я свой пузырек достану, – поднялся старик.

– Где взял? – подозрительно взглянула бабка Ангелина. – У тебя же денег не было. У меня упёр и перепрятал, да?

– А я после обеда бабку Аглаю ублажал, – не удержался, съехидничал старик. – Говорит, понравилось. Еще зазывала на огонек... – и направился к сараю.

– От, сынок, глянь на него, ну, не язва ли? – опять всплеснула руками бабка Геля. – Ублажал, бабник! – и тут же поднялась. – Ладно, Пантюша, айда в избу. Чаёк пошвыркаем с медком – у-у-у, вкусный, а потом на крылечке посидим. Нам есть о чем поговорить...

И бабка Ангелина скрылась в избе.

Пантелей поднялся. Из-под ладони взглянул на соседскую заколоченную избу, о чем-то задумался и стал неторопливо подниматься по ступенькам.

Он приобрел...

Нет, наконец-то, он возвратился в дом, где его давно ждут.

Это была долгая дорога.

Поезд его судьбы

– Егорка, – донесся голос деда Акима. – Егорушка, не уезжай. На кого же ты оставляешь нас? Вернись, внучек!

И так явственно, так близко, что Егор вздрогнул и, открыв глаза, с недоумением поглядел на старика и его попутчика, которые сидели наискосок от него на боковых местах и мирно разговаривали. Дед Аким приснился. Он не хотел, чтобы Егор уезжал. Всё уговаривал остаться, а Егор не послушался. В город поехал учиться, и пропал на долгие годы...

В вагоне духотища. В спертom воздухе запахи табака, дегтя и пота, по проходу откуда-то тянуло кислыми щами. Напротив Егора, на нижней полке расположилась старуха, которая сидела, подперев ладошкой подбородок, и задумчиво поглядывала

в окно на проплывающие поля и бескрайние луга, на извилистые речушки и полноводные реки и редкие деревни, что стояли по берегам. А раньше, как помнил Егор, деревень было куда больше, чем сейчас. Он закрутил головой, оглядываясь. Показалось, сквозь плотные вагонные запахи потянуло горьковатым дымком травы и пожухлых листьев, да изредка, даже как-то странно, появлялся стойкий запах осенних яблок. Такие яблоки были в саду у бабки Тани и деда Акима...

Егор вздохнул, стараясь удержать в себе яблочный запах. Весной, как он помнил, деревня, у которой и название было Яблонька, одевалась в яблоневоый цвет. Облака висели над домами. Куда ни глянь, повсюду были яблони. Дома, разбросанные там и сям по пологому склону, одевались в белую кипень, а если подняться чуть выше деревни, тогда облачка сливались в одно огромное облако. И запах, от которого никуда не денешься, повсюду проникал, в каждую щелку просачивался. А потом, когда созревали яблоки и убирали урожай, казалось, в деревне поселялся яблочный запах, до того густым он был.

И сейчас, после долгих лет скитаний по стране, он возвращался в свою деревню, где вся его родня – это баба Таня да дед Аким. Егор возвращался, чтобы остаться в деревне навсегда. Решил, что поставит дом возле деда Акима, там было свободное место, как помнил, чтобы рядышком с ними жить, потом женится, и будут дети. Много детей. И жена любящая. Да... У Егора не получалось создать семью. Всегда казалось, времени не хватало, чтобы найти хорошую девку, а всё какие-то шалавы попадались, вертихвостки. Мотался по стране в поисках счастья. Мчался за длинным рублем, а уезжал с заработков с пустыми карманами. А бывало так, что просто хотелось взглянуть на белый свет, и тогда бросал работу, брал расчет, собирал вещички и сутками трясся в вагоне. И выходил, если новое место приглянулось. Устраивался на работу, а потом опять срывался, брал билеты и уезжал. И мотался по белому свету, пока деньги в кармане не заканчивались, потом делал небольшую оговорку, чтобы немного подзаработать, и снова отправлялся в путь... Егор жил как перекати-поле, никто и ничто не могло удержать его на одном месте. Но в последние годы яблоневоый запах всё настойчивее стал напоминать ему про деда Акима и бабу Таню, про деревню, откуда уехал еще подростком. Уехал, чтобы выучиться в городе, но исчез на долгие годы. Всё счастье искал, а потом понял, что счастье не там, куда его заносила жизнь, а скорее всего в глухой деревне, где он родился и вырос, где были его дед и бабука, где впервые поцеловался с девчонкой – это главное в жизни, а всё остальное – это наносное и ненужное человеку. И Егор решил вернуться...

За окном было темно. Изредка промелькнет полустанок или вдали проплывет деревушка с неяркими огоньками и опять мерно стучат колеса, да в вагоне раздаются тихие неторопливые разговоры попутчиков. За окном глухая ночь, а в вагоне идет своя жизнь...

– Бабу, – со второй полки свесилась голова мальчонки. – Бабу, я в уборную хочу.

– О, господи, ночь на дворе, а тебя приспичило, – заворчала толстая старуха, сидевшая напротив. – Потерпи до утра.

– Бабу, я сильно хочу, – продолжая говорить, с полки стал слезать мальчишка.

– Не дотерплю. Правда! Пойдем со мной.

– От, неслух, приспичило, – опять повторила старуха и поднялась. – Говорила тебе, не пей много чая на ночь. Так нет, не послушался. Целых три стакана выхлестал. А теперь сам не спишь и мне покоя не даешь, – и, словно оправдываясь перед попутчиками, сказала, взглянув на них: – Мальчонка впервые едет на поезде. Всё в

новинку ему. Вы уж потерпите, соседи, не ругайте его.

Бабка шлепнула мальчишку пониже спины, и они направились по проходу.

– Вода дырочку найдет, – вслед сказал старик, сидевший наискосок. – Пей малец, пей впрок. Вода – это жизнь.

А потом долго рассказывал своему попутчику, такому же старику, как во время войны пришлось скрываться в катакомбах, как голодали, а еще больше хотели пить. Ночами спали, и снилась вода, а если удавалось достать воду, ее делили по глоточкам, по капелькам – это была самая вкусная вода, какую он пил за свою жизнь. И слово дал, если выберутся, если останется в живых, после войны уедет на самую большую реку, и поселится на берегу, что и сделал. На Волгу уехал, и всякий раз, когда спускался к воде, наклонялся, словно кланялся реке, и обязательно делал глоток-два воды...

– Баб, я хочу кушать, – в проходе показался мальчишка и затеребил за рукав старуху. – Дай пирожок, а?

– Ну-ка, спать, постреленок, – шикнула на него бабка и погрозила скрюченным пальцем. – Ишь, чего удумал – ночью кушать! Повечеряли, и хватит. Я все припасы убрала. Утром покормлю. Спи, говорю!

Она помогла внуку залезть на полку, не слушая его бурчания, потом уселась на нижнюю полку и опять принялась смотреть в окно на редкие проплывающие мимо огоньки деревень. Светятся огоньки в ночи, значит, там живут люди и теплится жизнь...

Вполголоса беззлобно матюгаясь, по проходу медленно двигался кряжистый мужик, держа перед собой тяжелый мешок. Шел, стараясь не задевать руки и ноги спящих пассажиров, разметавшихся во сне на узких полках. А чуть погодя, когда поезд затормозил на небольшой станции, в вагон ввалились трое парней, зашумели, засмеялись, но тут же притихли от грозного окрика проводницы, принялись устраиваться на своих местах, а потом подались в тамбур, покурить на сон грядущий.

А Егор сидел, прижавшись к стенке, и внимательно всматривался в ночную тьму за окном. Всё ждал, когда появятся знакомые пейзажи, очертания холмов и перелесков, да глядел на редкие огоньки. И с нетерпением смотрел, когда появится милая сердцу деревня Яблонька, которую покинул, помчавшись за несбыточным счастьем, а теперь возвращается, и опять-таки, за этим же счастьем, которое он просто не заметил. Частенько долгими морозными ночами, когда окна в общежитии покрывались толстым слоем инея, ему снилась деревня, вся в яблонево цвету, а бывая в бескрайних знойных степях, снилась родная речка Вьюнка, что журчала и кружила между холмами, куда бегал с ребятами купаться жаркими днями, а баба Таня грозила, что крапивою высечет, если он утонет. И сейчас сидел в вагоне, смотрел в окно и хотелось побыстрее добраться до деревни, до родного дома. Добраться туда, где его ждут...

Дед Аким вернулся с войны инвалидом. На одной ноге пальцы словно в кулак сжали, а второй не было повыше щиколотки. Дед рассказывал, что рядом мина взорвалась. Ногти подрубили, да ногу срезало как косой, а всё остальное целехонькое. Говорил, даже не успел понять, что случилось. Вроде в атаку побежал, а нога повернулась, и растянулся во весь рост. А росточком-то бог не обидел. Ему в гренADERАХ служить, как баб Таня говорила, а он в матушку-пехоту попал. За версту было видать, поэтому фашисты не промахнулись. Видать, специально в него метили. На фронте прозвали «Верстой коломенской», а вернулся в деревню, и опять получил это же прозвище. Правда, с годами сократили – Верстой стали кликать. А дед Аким не обижался, Верста, так Верста, лишь посмеивался, скрипел своим деревянным протезом да дымил вонючей махоркой. Дед Аким сам на фронт напросился. Вслед за сы-

новьями подался. Пятеро было, и все остались лежать в чужой земле, а сам вернулся покалеченным. Когда родители Егора потонули по весне, под лед ушли вместе с саянами и не смогли выбраться, дед с бабкой Таней взяли Егора к себе, все же дальней родней считались. А может, вообще были чужими и забрали, потому что остались без детей, и Егор стал самым родным человеком для стариков...

– Баб, спеки оладушки, – закричал Егорка, заскакивая во двор, и махнул рукой. – Аленка Коняева, зараза такая, в летней кухоньке печет. Дух на всю улицу! У нее попросил, а она стоит, кривляется: «Угощу, если поцелуешь».

– Поцеловал? – взглянула поверх очков баба Таня.

– Два разочка в щеку... – вздохнул Егорка и пригладил взъерошенные волосы. – А я еще оладушки хочу. Вкусные!

– А что мало-то целовал? – засмеялась баба Таня. – Девка с пеленок по тебе сохнет, а ты – два разочка. Побольше надо было. И с Аленкой вволю бы нацеловался и оладушек наелся.

И покатила, глядя, как возмущенно запыхтел внук.

– Правильно говоришь, бабка, – на крыльце появился дед Аким, достал махорку и принялся сворачивать сигарку. – Девоч надо целовать. Всех до единой! Вот я, как сейчас помню, всех девчонок в деревне перецеловал, особенно, когда с войны вернулся. Табунами за мной бегали. Проходу не давали. Ночами в окно стучали, всё звали, чтобы вышел целоваться. И выходил... Вон, у бабки спроси. Она не даст соврать.

– Ай, болтун, – взглянув на него поверх очков, отмахнулась баба Таня. – Не верь ему, внучек. Обманывает старый. Тоже мне – целовальщик нашелся. Не знает, с какой стороны к девкам подходить. Меня-то всего три разочка за всю жизнь чмокнул и то – в щеку, когда свадьбу сыграли, а потом на фронт уходил и с войны вернулся и всё на этом. Тоже мне – бабник нашелся!

И засмеялась: тоненько, протяжно и весело.

– Баб, ну спеки... – стал канючить Егор. – Да ну её – эту Аленку, опять заставит целовать! Лучше ты сделай. У тебя же вкуснее оладушки и побольше...

– Ну ладно, ладно, – закивала головой баба Таня. – Сейчас все дела переделаю, а к вечеру займусь оладушками. А ты набрось чистую рубашку да сходи с дедом в магазин. Соль и спички нужно купить, да рафинаду взять не забудьте, а то чай будете вприглядку пить. Ладно уж, и чуточку конфет – тоже.

Егор торопливо доставал рубашку, отряхивал штаны, а потом важно вышагивал с дедом Акимом, который, поскрипывая деревянным протезом, неторопливо кондылял по дороге, частенько останавливался, долго и обстоятельно беседовал со встречными, слушая и рассказывая какие-нибудь нескончаемые истории, и тогда Егор начинал дергать его за рукав, дед раскланивался, и опять неспешно шел, опираясь на крепкую палку.

Летом, когда у Егора наступали каникулы и чтобы зазря не болтался по деревне, а приучался к делу, дед Аким поднимал его чуть свет, и они отправлялись на работу. Дед Аким скрипел протезом, через плечо висела сумка, где был узелок с продуктами и бутылка молока. Изредка раздавалось сонное гавканье собак, где-то затахтела телега, и донесся глухой кашель, а в том окошке теплилась лампадка. Егор протяжно зевал, вздрагивая от утренней прохлады, и всю дорогу ворчал на деда, что поднял в такую рань, а дед Аким всю дымил самокруткой, посмеиваясь над ним. Деду Акиму скучно было весь день сидеть дома, и он уговорил председателя, чтобы его взяли на работу. Устроился на колхозный ток, вроде, как сторожем записали, но

в то же время командовал всеми. Сам председатель попросил, чтобы за порядком присматривал. И деду Акиму частенько приходилось ругаться с рабочими, чтобы работали, а не гоняли лодыря, как он всегда говорил. А уж матюгаться любил – страсть! Как завернет, как выпустит целую очередь матюгов без остановки, даже вороны ша-рахались от его голоса, в небе метались, воробьи стаями уносились прочь, а мужики стояли и цокали языками от восхищения. Горячий был старик, не дай Бог под руку по-пасть, но в то же время – добрый, если подход к нему найти...

Когда бригада расходилась по рабочим местам, дед Аким делал большой обход, как он это называл. Всю территорию тока обходил, в каждую щелочку заглядывал, каждый механизм руками ощупывал и заставлял включать, по звуку определял, как работает. А затем возвращался в будку, снимал деревяшку с ноги и начинал поглаживать натруженную культяпку. Болела, зараза, особенно к непогоде. Потом заку-ривал, на крупный нос вздевал очки, перемотанные суровой ниткой, одно стеклышко треснутое, брал газету, без разницы какая: новая или старая, – раскрывал и вслух по слогам начинал читать все подряд, что было написано. Иногда повторялся, поверх очков смотрел на Егорку, многозначительно поднимал палец вверх и тыкал, значит, что-то власть решила для народа. А Егорка, не выспавшись, подкладывал под голову чью-нибудь старую куртку или фуфайку, укладывался на скамью и засыпал под не-торопливое, монотонное чтение деда. И спал, пока кого-нибудь не приносило в будку. Громко хлопала дверь, а еще громче раздавался чей-либо голос или матюги, если не успевали заметить Егорку. Тогда дед Аким поднимался, брал мужика за шварник, вы-талкивал на улицу и сам выходил следом, прикрывая за собой дверь, чтобы Егорка не услышал. А Егорка уже не спал. Лежал, прислушиваясь к негромкой ругани деда, доносилась звонкая затрещина – и такое бывало, дед возвращался, заметив, что Егор не спит, доставал узелок и подзывал внука к столу...

Светает. За окном едва заметно стали проявляться деревушки, проплывающие мимо, вон блеснула речка, а там стеной лес стоит. Поезд прогрохотал по мосту, внизу темным серебром мелькнула вода, и тут же за окном замелькали деревья, казалось, в вагоне стало темнее, но следом поезд вырвался на равнину и помчался, набирая ско-рость. Но вскоре замедлил ход и затормозил на небольшой станции, если можно было так назвать деревянный дом с поблекшей вывеской, в окнах которого виден свет, два-три фонаря рядышком и мелькнул пассажир, который торопился к своему вагону...

А вечером они возвращались домой. Дед Аким широко распахивал калитку, пропускал Егора, следом поднимался на крылечко. Тут же оставлял палку, с какой ходил и, придерживаясь за стенку, откидывал занавеску, стаскивал с головы фу-ражку, вешал на толстый гвоздь возле двери и, наклонившись, чтобы не удариться, заходил в избу.

– Мать, встречай, – звал он бабу Таню. – Мужики с работы вернулись. На стол спроворь. У Егорки всю дорогу в животе кишки пищали. Видать, протоколы пишат.

И начинал подолгу мыться, склонившись над раковинной, а потом расчесывал большую и густую бородищу, приглаживал волосы и усаживался на табуретку, в ожи-дании ужина.

– Кто же тебя гоняет на работу, а? – поглядывая, как он умывается, всплески-вала руками баба Таня. – Пенсию получаешь, а всё тебе нейметя. Весь день с мужи-ками проколоти язык, байки рассказывая, да Егорку измучает. Не даешь поспать, бедненькому. Мне наши бабоньки рассказывали, чем вы там на току занимаетесь...

– Я решаю дела государственной важности, – подняв крючковатый палец

вверх, важно сказал дед Аким. – О, как! Я, как винтик в той машине. Если выпадет или сломаюсь, машина остановится. Понятно, бабка? Поэтому хожу, чтобы механизм справно работал, чтобы от меня польза была стране. И каждую заработанную копейку несусь в дом. Вон и Егорке новые штаны справили, и тебе отрез на платье купили. И если мне платят деньги, значит, я нужен государству, потому что оно не может обойтись без меня. Вот и получается, что я – государственный человек. О, как! – старик подводил итог и тыкал пальцем вверх.

– Сам шляешься и Егорушку таскаешь за собой, – заворчала баба Таня и принялась расставлять чашки на столе. – Нет, чтобы внучок поспал, поднимешь его чуть свет и тащишь за собой, а он, бедняга, весь день с тобой мучается.

– Если бы мучился, давно бы сбежал, а он со мной, – вздернув брови вверх, сказал старик. – Значит, ему нравится. Ты, бабка, ничего не понимаешь в мужском характере. Я, можно сказать, закаляю внука. Пусть с детства привыкает к трудностям...

А может, и прав был дед Аким, когда брал Егора с собой на работу. Ко всему приучал, к труду, к трудностям, к голоду и холоду, к непогоде и к палящему зною. Всё пришлось испытать Егору, пока дед воспитывал его. Всё пригодилось в жизни, пока он мотался по стране, как перекасти-поле. Исколесил всю страну вдоль и поперек в поисках призрачного счастья, а видать, счастье-то было в другом месте. Там, откуда он уехал, в его родной деревне Яблоньке. В доме, где ждут дед Аким с баб Таней, а он прожил на свете поболее тридцати лет и только сейчас понял, где находится настоящее счастье. Подхватился и поехал, как Егор думал, чтобы навсегда остаться в деревне.

По узкому проходу неторопливо прошла проводница. Егор внимательно посмотрел на нее. Проводница похожа на Аленку Коняеву. Девчонку, которая заставляла целовать за оладушки. Егор непроизвольно сглотнул, вспомнив про оладьи. Наверное, Аленка давно замуж вышла, семеро по лавкам. Она всегда мечтала о большой семье. Всегда говорила, что у нее будет много ребятишек. В школе, когда Егор из-за болезни сильно отстал по русскому языку, она сказала учительнице, Антонине Архиповне, что поможет ему, объяснит, что не понимает и заставит, чтобы все правила выучил. Скоро будут экзамены. Нужно было готовиться. И она взялась. Каждый день, засунув за ремень учебник с тетрадкой, Егор торопился на занятия. Аленка сказала, чтобы к ней приходил. Она выносила из дома стопку учебников, а не только русский язык, потом открывали погребку, где Аленкин отец сделал большой лежак, а поверх брошены половики, чтобы тут летом спать, а не в душной избе. Вот на них ложились, и Аленка начинала гонять его по русскому языку. Строгая была. Спуску не давала. Всё правила заставляла учить. А потом, когда Егор собирался домой, она угощала его чаем с карамельками, а бывало, что оладушки пекла, и тогда он оставался и подолгу с Аленкой дули чай и без умолку разговаривали. Обо всем говорили. И здесь, за столом, она была другой: веселой и смешной, а когда заставляла учить русский язык, она становилась строгой и серьезной. Егор даже робел перед ней. Правда, когда делал ошибки, Аленка смеялась над ним. Тыкала тоненьким пальцем в тетрадку, объясняя, где нужно исправлять, а сама вовсю заливалась. И однажды, когда цвели яблоньки и запах проникал повсюду, она прижалась к нему, потянулась к тетрадке, чтобы на ошибки указать, и заметила, как у него ярко полыхнули уши, как покраснел и отвернулся. Аленка засмеялась, а потом чуть отпрянула и долго смотрела на него. Взгляд стал каким-то непонятным, брови на переносице сошлись, она молчала, словно решалась, а потом обняла его и неожиданно поцеловала. В губы. Сильно. Больно. Даже прикусила, а он не ожидал, громко вскрикнул и толкнул её.

Сильно. Она отпрянула. Егор испугался, а может, растерялся, что девчонка поцеловала. Наверное, любой бы оторопел. Вскочил, забыв учебники, вылетел из погребки, Аленку обозвал дурой набитой и, врезавшись в её отца, помчался домой. Учебники она принесла в школу. Отдала. Посмотрела на него, глаза потемнели, и ушла. Молча, даже не оглянувшись. Видать, от бати получила нагоняй. Егор стал избегать ее, на улице стороной обходил, а если сталкивались, опускал голову и мимо проходил. Потом, после выпускных экзаменов, когда получил документы, он уехал из деревни и больше никогда не слышал про Аленку. Наверное, замуж вышла и ребятишек полная изба, как она мечтала. А может, одна живет, и тогда...

Вздыхнув, Егор растер лицо. Устал за дальнюю дорогу. Через всю страну добирается. Первые дни спал, а чем ближе стали подъезжать, тем сильнее на душе волнение поднималось. Уже вторую ночь не спится. Вроде приляжет, повернется, покрутится, а потом поднимается, усядется в уголок, в окно поглядывает и вспоминает жизнь. Всю жизнь, какая прошла в деревне...

На родительский день баба Таня с Егором ходили на кладбище. Могилки прибирали, баб Таня протирала кресты, где были таблички с едва различимыми именами. Потом долго сидели на скамеечке. Баба Таня сидела, о чем-то думала, часто плакала, а Егору надоедало, он тихонечко вставал и сбегал за ограду, где играли мальчишки, которые тоже сбежали. И тогда они уходили в березняк, где играли в прятки или мчались на школьный двор и до ночи гоняли в футбол, пока кто-нибудь из взрослых не разгонял по домам. А вернувшись, Егор старался не шуметь. Проскользнет в избу, забьется в угол и сидит, наблюдает, как дед Аким с соседом, дядькой Иваном, самогонку пьют. До ночи сидели за столом. Дед рассказывал про сыновей. Никого не забывал. Про каждого помнил. И рассказывал: долго, больно и тоскливо. И пил. Много. И не пьянел. Никогда. Потом дядька Иван уходил, а баба Таня присаживалась рядышком с дедом, вытаскивала несколько сохранившихся фотографий, раскладывала на столе, доставала тоненькую стопочку солдатских писем и медленно, по слогам, читала. Дед плакал. Плечи тряслись, а глаза были сухие. И баб Таня плакала. Сидела и читала, а рукой поглаживала фотографии. И плакала. Потом дед Аким наливал ей стопку, себе полный стакан, молча выпивали, и баба Таня убирала фотографии с письмами, подходила к деду, обнимала его, уходила на кухню и занималась хозяйством. Дед снимал протез. Скидывал штаны и рубаху и взбирался на печку. А вскоре раздавался громкий протяжный храп. И Егор засыпал, а утром его будил неторопливый говорок бабы Тани, которая, как казалось, вообще не ложилась спать...

Егор никогда не напоминал деду про войну, а бывало, когда мужики собирались в будке на току и начинали вспоминать, кто и как воевал, дед поднимался и, заскрипев протезом, выходил. Но иногда, под настроение, особенно если выпивал стаканчик-другой, мужики просили рассказать, как дед Аким плясал на бруствере окопа и ходил в атаку. Эту историю наизусть знали, но всякий раз уговаривали, чтобы рассказал. Дед Аким только хмыкал, поглаживая большую и густую бородищу, а потом, продолжая посмеиваться, махал рукой.

– Ладно, сукины дети, так и быть, слушайте, – басил он, доставал кисет и начинал мешкать, время тянуть, и тянул, пока кто-нибудь из мужиков не вытаскивал пачку папирос и не угощал его. Тогда он закуривал, пыхнет раз-другой, хитро взглянет и опять скрывается в дыму. – Так вот... Значит, стояли мы под... Нет, братцы, не скажу, где были – это военная тайна. В общем, мы стояли, и всё на этом. Фашиста

сдвинули с места. Он попятился. Мы готовились к атаке. А я в взводных ходил. Наверное, специально должность дали. Росточком Бог не обидел, да еще голос, как труба иерихонская. Бывало, рывкну, артналет перекрывал своим криком. Что смешься, злыдень? – дед Аким локтем толкал соседа. – Это тебе не в танке за броней сидеть. А пехота – царица, и ни с какими войсками не сравнить. Понятно тебе? Так вот... У нас был солдат. Попал к нам после госпиталя. Вот такой же, как ты, Климка. Такой же маленький, вредный и ехидный замухрышка. Ему говоришь, как об стенку горох. Никому не верил, ничего не признавал, зато любил других подначивать. И пристал ко мне, будто от других слышал, что я могу вызвать огонь на себя. Не верил, когда я выскакивал из окопа и на бруствере принимался плясать, все фашисты начинали в меня стрелять. Правильно, а в кого стрелять, если я чуть ли не вдвое выше других был. Пляшущая мишень, по-другому не назовешь, – и опять замолкал, пока ему не протягивали новую папироску, он снова прикуривал, пыхал несколько раз и продолжал рассказывать. – В общем, поспорили с ним, что я вприсядку пройду по брустверу. И прошелся... Фашисты взбеленились. Принялись стрелять в меня, а наши в это время огневые точки засекли и накрыли их. Аккуратненько так приложили. Замолчали фашисты. А я дождался, когда артналет закончился и рывкнул, поднимая солдат в атаку. И ребятушки пошли вперед. Я, было, кинулся вперед, а нога-то подогнулась, и закувыркался по земле. Думал, споткнулся. Поднимаюсь и снова падаю. Соскакиваю и опять валюсь. Сгоряча-то не почуял, что ступню оторвало. А потом еще раз рядышком рвануло, и я упал. Очнулся в госпитале...

И дед Аким замолчал, нахмурился, о чем-то думая, морщинки пробежали по лицу. Сидел, курил, смотрел на всех, а никого не видел. Наверное, опять в прошлое вернулся и снова поднимал солдат в атаку.

– Это... А на что спорили, дед Аким? – не удержался, спросил кто-то из мужиков, хотя все об этом знали. – Отдал солдат?

– На губную гармошку поспорили, – поглаживая густую бороду, сказал дед Аким. – Не отдал. Погиб. Тяжелый бой был. Много наших солдатешек полегло, очень много.

– А зачем тебе гармошка, если играть не умеешь? – не унимался мужик. – Бабку Таню заставил бы, да?

– Почему? – удивленно вскинул брови дед Аким и кивнул на внука. – Вон, Егорке бы отдал. Пущай балуется.

– Так внука еще не было в то время, – донимал мужик.

– Ну и что, что не было, – буркнул дед Аким. – Сейчас же есть. Значит, попозже отдал бы, и все.

– А-а-а, – протянул мужик, достал папиросы и уважительно протянул. – На, Аким Петрович, угощайся. Подыми с нами.

И старик дымил, а потом опять начинались долгие разговоры про войну, про жизнь и работу, про ребятишек... Да обо всем говорили!

– А вот еще был такой случай, – дед Аким помолчал, вспоминая, потом продолжил. – В госпитале лежал. У нас санитарка была, красивая, зараза, а неприступная – аки крепость! Её так и прозывали – Тонечка Крепость, как сейчас имя помню. Многие солдатики старались ухлестнуть за ней, да не получалось. Всем от ворот поворот показывала. Ну и лежим себе, разговариваем, а я возьми и брякни, что она без всяких ухлестываний поцелует меня. И все стали наседать. Как это – она, Крепость ходячая, да меня возьмет и сразу же поцелует. Никто не поверил! По рукам ударили.

Вся палата против меня одного поспорила. А на следующий день, как сейчас помню, она зашла в палату – эта самая неприступная Тонечка Крепость. Ходит, кому подушку поправит, кому одеяло подоткнет, у кого температуру замерит, а кого и отругает, что в палате курил. В общем, обычные медсестричкины дела. До меня очередь дошла. А я заприметил, что у нее карман оттопырился и оттуда что-то выглядывает. Я быстро подушку в комок сбил и в дальний угол койки затолкал. Она полезла через меня, чтобы поправить. Не достает. Опять потянулась, а я в этот момент вытащил у нее сверточек из кармана. Сунул под одеялку и молчу. Тонечка уже собралась уходить, я подзываю. И говорю, мол, Тонечка, ты ничего не потеряла? Она шасть ручкой по карманам, шасть-шасть, а там ничего нет. Вся покраснелась, может засмушалась, а может разозлилась, кто ее знает. Заохала, ручками за щеки хватается, чуть ли не в обмороки падает. А я такой весь гордый достаю и показываю. Она кинулась схватить, ан нет, дорогая! Говорю, целуй в обе щеки или в губы – не помню. Она отнекивалась, отмахивалась, а деваться некуда. Видать, что-то ценное было в свертке. Потопталась возле меня. Поглядела по сторонам, а мужики все выстрочились и глаз не сводят с нас. Тишина такая, что слышно, как муха летает. Медсестричка красная, как помидорина, стала. Наклонилась, чтобы в щечку чмокнуть, а я взял и повернулся, как схватил ее, на себя повалил и прямо в губы поцеловал. Да так сильно, так звонко, аж мужики взвыли от зависти. Хотел еще раз, да она вырвалась. Выхватила сверточек. Сама покраснелась, погрозила мне кулачком, пообещала рассказать врачу и вылетела из палаты, даже дверь забыла захлопнуть. Вот так я взял неприступную крепость. Красивая деваха, но вредная...

– Отдали, на что поспорили, или нет? – перебивая, раздался голос.

– Конечно, отдали, – поглаживая бороду, захмыкал дед Аким. – На литровку водки поспорили. Да, притащили. Не знаю, где взяли, но принесли, а потом мы всей палатой выпили эту водку. Правда, потом нагоняй получил от доктора. Может за водку, а может и за Тонечку Крепость... – он помолчал, задумавшись, потом хитровато взглянул на мужиков, на ходики, что висели в будке и сказал: – Как сейчас помню, еще был случай... Лежим в палате, а нас много собралось покалеченных, кто без рук или ног, кто с одной рукой, кому осколком уши подрезало – и такое бывало, а вот одному... – дед Аким замолчал, опять принялся испытывать терпение мужиков, пока его папироской не угостили. – Так вот, о чем говорю... Солдатик лежал. Весь целый. Всю войну прошел, и ни единой царапинки. А тут на тебе, прямо в конце войны угораздило... – он медленно осмотрел всех, достал кيسет и стал неторопливо скручивать сигарку, послонявил ее, ткнул в рот, непонятно, как еще попал в такой густой бороде и прикурил. – И так вот... Солдат лежал...

– Да не томи ты, дед Аким, – кто-то не выдержал. – И что этот солдат?

– Не перебивай, а то не стану рассказывать, – недовольно заворчал старик. – В общем, солдатик всю войну прошел. Ага... Ни одной царапинки, руки-ноги целы, а там...

– Где? – донесся молодой голосочек.

– Кыш отсюда, пострел! – рявкнул старик. – Молод еще, такие истории слушать. Любопытной Варваре... Солдатик рассказывал, что в атаку бежали. А впереди канава была. Он, как сиганул, ноги растопырил в разные стороны, аки балерина в татрах. Я видел этих балерин. К нам приезжали. Красиво пляшут, заразы, но худющие – страсть! Видать, у них плохая кормежка... Так вот, солдатик прыгнул, а ему осколочком прямо туда попало. Как бритвой срезало! Чиркнуло – и всё, и там пусто. Ага...

И старик задымил, хитровато поглядывая на мужиков.

Мужики переглянулись.

– Куда – туда? – запнувшись, сказал сосед, Антип Калягин, и взглянул на штаны. – Прямо туда?

– Ага – туда, и срезало под самый корень, – пыхнув дымом, невозмутимо сказал дед Аким. – Словно и не бывало. Сам виноват. Нужно было чуток повыше подпрыгнуть, всё бы на месте осталось, только бы мотню на штанах продырявило, а так, даже не представляю, кому нужен такой мужик, без прибора-то. Только для проформы, и не более того...

И хохот, от которого, казалось, стены будки развалятся. Даже вороны, сидевшие неподалеку, взлетели, громко каркая, и закружились над током. Смеялись все: мужики, сидевшие на скамейках, смущенно прикрывали рты бабы, заглянув в будку, и весело заливались ребятишки, столпившиеся возле дверей, и Егор, сидевший рядом с дедом.

– Что ржете, жеребцы? – хмуро взглянув на всех, рявкнул дед Аким. – У солдатака такое горе, а они...

Не успел договорить, как еще громче раздался хохот. Некоторые не выдерживали и выбегали на улицу, а другие вповалку лежали на скамейках. Один лишь дед Аким сидел на лавке, возвышаясь над столом, и невозмутимо дымил махоркой...

За окном проплывали поля, строго расчерченные на темные квадраты осенними желтыми лесопосадками. Рыжие всхолмья, редко мелькали белые березы, чаще кряжистые дубы и тонкий осинник, а вон там зеленеют елочки. Снова поезд прогрехотал по мосту, потом нырнул в тоннель, сразу потемнело вокруг, а через мгновение поезд вырвался на равнину и загудел: протяжно, громко, ликующе.

– А вот к нам, – донесся стариковский голос, и Егор увидел, что наискосок дед в теплой безрукавке, в свитере и в штанах с отвисшими коленями, отхлебнул из стакана горячий чай и ткнул пальцем в окошко, – в Кулинич, почти все из Яблоньки переехали, когда наши хозяйства объединили. Ворчали, ворчали, с начальством переругались, а всё бесполезно. Если хотите учиться в школе и работать, перебирайтесь в Кулинич. Ага... Так и заявило начальство.

Егор прислушался.

– Деревенька-то маленькая. Правление и школу перевели в Кулинич. Технику отправили туда. Магазин переехал. Ничего в Яблоньке не осталось. Люди стали перебираться в Кулинич. Почти все переехали, а старики засопровтивлялись. Ни в какую не хотели уезжать. А дед Аким, был такой старик, за ружье схватился, ни в какую не хотел уезжать. Говорит, бабка тут похоронена, родители, а вы хотите меня увезти... Да я вас, мать вашу разэтак... И хватъ ружье, на крыльцо выскочил и кричит, если кто сунется во двор, враз положу. Начальство покрутилось, постращали его, милицией да тюрьмой попугали, а он еще пуще взбеленился. Так и остался... А с ним еще несколько стариков остались в Яблоньке. Те, кому некуда уезжать и уже незачем. Недолго протянули. Друг за дружкой ушли. Дед Аким всех в последний путь проводил. Затосковал, оставшись один. Всё внука ждал. Говорил, что без него не может помереть, не увидев. Не дождался... Дед Аким последним помер. Вот уж лет восемь или около этого, как схоронили старика...

– А что с внуком случилось? – сказал его собеседник. – Почему не приехал?

– Никто толком не знает, – пожимая плечами, сказал старик. – Одни болтали, будто спился и помер под забором, другие говорили, что выучился, разбогател и

забыл про стариков, третьи говорили, что его посадили или убили... В общем, никто и ничего не знает. Уехал в город и пропал. И где он сейчас, тоже неизвестно, да и кому это нужно сейчас, если его уже никто не ждет.

И старик, потирая недельную щетину, замолчал, задумчиво поглядывая в окно.

Егор, услышав про деревню, хотел было подойти и расспросить, а потом, когда старик сказал, что дед Аким ждал внука, едва не кинулся, едва не закричал, что он живой, что вот перед ними стоит, что едет в родную Яблоньку, чтобы навсегда остаться в ней жить. Хотел подойти, да сник. Получается, что его никто не ждет... Сидел, понурившись, а сам еще не верил, что дед Аким помер. Они же никогда не болели, ни на что не жаловались. Казалось, они будут жить вечно. Баба Таня ни минутки не могла спокойно посидеть. Всё нужно было что-то делать, чем-то заниматься. А дед Аким всё такой же огромный и крепкий, как всегда был, каким запомнил Егор старика, но оказалось, его давно снесли на кладбище.

Ближе к полудню замелькали знакомые места. Проплыла гора, названная Лысой. Она возвышалась над холмами, на ней ничего не росло, кроме травы. И Егор помнил, как с мальчишками бегали зимой на эту гору кататься. Летели вниз, аж дух захватывало и хотелось кричать: громко, протяжно и восторженно. А вон там, где виднеются старые развалины, неподалеку было футбольное поле, а рядом школа, где Алёнка училась...

Встрепенувшись, Егор торопливо поднялся, схватил сумку, попрощался с попутчиками и направился к выходу. Едва успел спуститься на маленький пятачок, как раздался протяжный гудок, вагоны медленно поплыли мимо него, и он помахал вслед поезду.

Всё, наконец-то он вернулся в родные места.

Егор постоял, осматриваясь. Всё та же облезлая будка с вывеской, на которой едва заметно название полустанка, где поезд притормаживает всего лишь на пару минут и не более. Тишина. Раньше, как он помнил, возле низенького заборчика сидели старухи и продавали всякую мелочевку: семечки, ягоды, а бывало, пирожки выносили на продажу. Лишняя копейка никому еще не помешала, тем более в деревне. А сейчас никого нет возле заборчика, да и он почти весь повалился. Будка давно не работает. Дверь на замке. Ставни провисли, в одном окошке выбито стекло. Возле будки сломанная скамейка и залежалый мусор, островки репейника и заросли вездесущей крапивы. Видать, что здесь давно никого не было.

Егор закурил. Он стоял на осеннем ветру, ежился, поглядывая на серое небо в низких тучах, на желто-рыже-красные деревья, на опавшую листву и пожухлую траву под ногами, а потом подхватил сумку и направился по заросшей тропке в сторону такой же заросшей дороги. Заметно, некому по ней ездить, да и незачем...

Вдали видна лесопосадка. Рыжая, яркая, местами золотом подернута. А вскоре опадет листва, и лишь ветер будет тоскливо шуметь ветвями. А там поля: огромные, конца и края не видно, а за речкой начинается лес. С бабой Таней туда за грибами ходили. Егор так и не научился собирать грибы. Бежал впереди бабы Тани, расшвыривал ногами павшую листву, сбивал прутьем мухоморы, раздвигал траву, но ничего не замечал. А баба Таня шла следом за ним и ругалась, что он все грибы потоптал. Бывало остановится и показывает ему на листву, говорит, что под ней грибочки спрятались, а он не верил. Какие грибы, если даже бугорочка не было. Разгребет листву и правда, там шляпки виднеются. Сколько ходил с ней, но так и не научился собирать грибы. Ну не понимал их, не замечал, а баба Таня видела...

И речка позаросла тальником. Все берега в кустарнике. Дед Аким частенько брал с собой на рыбалку. Бывало, за сазанами ходили, но чаще всего, чтобы просто посидеть на берегу возле костра, поглядеть на воду, изредка переброситься парой слов и опять молчать, глядя на воду. Дед Аким никогда не говорил, о чем думает. Егор пристанет, Расскажи да Расскажи, а дед насупится, взглянет исподлобья, пальцем погрозит, достанет из кармана сверток с пирожками или сунет конфетку и опять отвернется и смотрит на речку. Может, войну вспоминал, может, сыновей, а скорее всего, про жизнь думал...

– Но, милая! – издалека донеслось тарактение колес и громкий окрик. – Шевелись, родненькая!

Оглянувшись, Егор остановился, поглядывая на понурюю лошадь, которая неторопливо плелась по дороге, не обращая внимания на окрики хозяина. В телеге, на траве сидел невысокий старичок, одетый в черную телогрейку, из-под которой выбился ворот рубахи, на глаза была надвинута серая каракулевая фуражка, а на ногах грязные кирзовые сапоги. Развалившись на траве, он ехал, свесив ноги с телеги, и громко покрикивал. Да и кричал-то, наверное, от скуки. Поговорить не с кем в этой глуши, вот и командовал, себя развлекал и чтобы не уснуть по дороге. Заметив Егора, старик встрепенулся.

– Тпру, милая! – опять крикнул он и, приложив ладонь к глазам, долго всматривался в Егора, а потом строго спросил: – Ты чей будешь, парень? Что за нелегкая тебя принесла в эту глушь, а? Ну-ка, как на духу говори, что ходишь тут и высматриваешь, а то враз милиционера покличу. Ага...

Но было видно, что он обрадовался случайному попутчику, но старался виду не подавать, а всё грозно хмурился, напуская на себя суровый вид.

– Да я только что приехал, – сказал Егор, махнув рукой. – С поезда...

– К кому, зачем? – старику видимо интересно было играть такого серьезного человека. – Что за причина принесла тебя в наши края, богом забытые? Так просто бы не приехал. Значит, нужда была. Говори, какая нужда? Помогу, чем смогу. Ага...

Старик сердито сдвинул брови и взглянул из-под козырька фуражки.

– Что-то неласково встречаешь меня, дед, – усмехнулся Егор, поправляя сумку, потом достал пачку сигарет и протянул. – Угощайся, старый.

– А почему я должен миловаться с тобой, а? – выпячивая тощую грудь, захохотился старик. – Ты же не девка, чтобы тебя лаской брать. А вот городскую сигаретку испробую, – и принялся вытаскивать сигарету негнуцимися пальцами. – В Кулиниче собрался или в Борисовку? Так до Кулиничей двадцать верст будет, ежели напрямки, а до Борисовки еще дальше. Тебе нужно было на другой станции сойти. Оттуда ближе и транспорт всегда есть. В командировку прислали, или сам изъявил желание приехать? Ага...

– Сам приехал, – вздохнув, сказал Егор, шагая рядом с телегой. – Приехал, да видать, поздно. Прошлого не вернуть, а будущее не вижу.

– Это как так? – не понял старик, взглянув на него. – Что-то мудрёно изъясняешься, мил-человек. Что собираешься возвращать? Видать, кто-то должен тебе? А кто, скажи... Я подскажу, где его найти... Ну, не за просто так, конечно, за чекушок... Сговорились? Ага...

– Я приехал к деду Аким, – сказал Егор и кивнул головой на дальние холмы.

– В Яблоньку приехал...

– Эка сказал – дед Аким, – перебивая, захмыкал старик, а потом стал загибать

пальцы, подсчитывая. – Так его, мил-человек, почитай... Тьфу ты, запутался! Давно схоронили, очень давно. Может лет пять-шесть, а то и семь прошло, а может и поболе, как похоронили. Неделю в избе пролежал, пока случайно рыбак не забрел. Ладно, властям сообщил, а то бы одни косточки нашли. Похоронили Акима, избу заколотили, чтобы пришлые люди не лазили, и всё на этом. Деревня опустела. Умерла деревня с последним жителем. А ты опомнился, прикатил. Ага... Хе-х!

Старик мотнул головой и мелко засмеялся.

– А баба Таня? – не удержался, спросил Егор. – Она тоже померла?

– О, вспомнил! Ага... Она уж давно Богу душу отдала, – махнул рукой старик. – У них внук был, а может сын – точно не помню. В город уехал и ни слуху, ни духу. Всякое про него говорили. Вот бабка Танька затосковала. Больно уж любила его, души в нем не чаяла, а он укатил и пропал. Она не выдержала. Быстро ушла, никого не мучила. Ага... Дед Аким утром поднялся, а она уже холодная. Похоронили. Сильно горевал дед. А что же ты хочешь? Всю жизнь вместе были, а тут...

Старик махнул рукой и нахохлился, вздернув плечики, словно воробышка в дождливую погоду. Сидел, курил, а потом взглянул из-под фуражки.

– А ты, мил-человек, кем для них будешь? – сказал он, подозрительно глядя на Егора. – Что-то не припоминаю тебя. Ага...

И тут Егор запнулся. Хотел было сказать, что внук, но что-то остановило. Зачем говорить, если его никто не ждет в этих местах. Внук, сын, знакомый или прохожий... Да какая разница – кто, все равно прошлое не вернуть, а будущее... А есть ли у него – это будущее? Егор не знал...

– Знакомый, – нехотя буркнул Егор. – В командировке был, у них останавливался.

– А, понятно, – покосился старик и, поелозив по сену, похлопал рукой. – Присаживайся. В ногах правды нет. С ветерком домчу до Яблоньки. Ага...

Егор положил сумку в телегу. Сам залез, свесил ноги, развалился на сене и опять достал сигареты.

– Кури, дед, – сказал он, протягивая. – Может, ты знаешь, в деревне была девчонка, Аленка Коняева, ну та, которая напротив магазина жила. Шустрая такая, красивая, можно сказать... У нее батя, если не ошибаюсь, вместе с дедом Акимом на току работал. Кажется, бригадиром был...

– А, Володька Коняев, – закивал головой старик. – Знаю такого, знаю. А вот дочку... Как ты говоришь, звали ее? Аленка... Нет, не припоминаю... В молодости все девчонки красивые, особенно из соседнего села. Ага... Был слух, будто какую-то девчонку в лесу находили. Надругались, а потом того... убили, сволочи. А кто это сделал – неизвестно. Похоронили... Я-то сам из Кулиничей. Ага... У меня теща жила в Яблоньке. Забрал к себе. Обезножила старуха. Так до последнего дня с нами прожила. Ага... А ты, командировочный, где живешь?

– Вся моя жизнь – командировка, – пожимая плечами, задумчиво сказал Егор. – Куда судьбой занесло, там и живу. Где понравилось, там и останавливаюсь.

– А, ну да, ну да, жизнь – такая штука, для одних передком обернется, а в основном, ко всем задом разворачивается, – протянул старик и внимательно, долго смотрел на Егора, хотел что-то сказать, но не стал, просто спросил. – Здесь останешься или в Кулиниче поедешь? Ага...

Егор осмотрелся. Потом прыгнул. Сам закурил и протянул старику.

– Здесь останусь, – сказал он. – На кладбище схожу. По деревне пройдуся, а

потом посижу, подумаю, что делать.

– А, ну ладно, главное – деревню не подпали, – старик опять взглянул на него, надвинул фуражку на глаза и не удержался, с ехидцей буркнул. – Ладно, командировочный, прощай. Ага... Думаю, дед Аким сильно обрадуется, когда тебя увидит, если могилку найдешь. Привет передавай от меня. Скажи, Демьян Голиков кланялся. Скоро все там будем, все вместе соберемся. Ага...

И понукая лошадь, не оглядываясь, затарахтел по разбитой дороге.

Вскоре стук колес смолк, но еще изредка доносился голос старика, который опять понукал лошадь, с ней разговаривал, чтобы не уснуть по дороге.

Егор стоял, осматриваясь. Много лет собирался в деревню приехать, но времени не нашлось. А сейчас стоял и не знал, что ему делать, зачем сюда приехал. Мертвая деревня. Тишина. Ни звука. Лишь ветер шумит в одичалых садах, где-то хлопает ставень да воронья кружит над деревней.

Узкие улочки и переулки, сплошь заросшие полынью да татарником, заброшенные сады возле каждого дворика, где местами виднеются яблоки и яблоками усыпана земля вокруг деревьев, и повсюду развалины домов. Казалось бы, яблоками пахло, Егор глубоко вдохнул и задержал дыхание. Ан нет, пахнет прелой травой и сырой землей. Редкие дворы, где еще сохранились избы, но уже на всех провалились крыши, стропила торчат, словно огромные ребра неведомого чудовища, на некоторых домах сорваны ставни. Может, ветром сорвало, а может, чужаки забредали, шарились в избах, выискивая что-нибудь ценное. Загудел ветер над головой. Низкие осенние облака накрыли мертвую деревню. В вышине, под облаками метались грачиные стаи. Улетят, оставляя людям осеннюю слякотную непогоду. Холодно будет, зябко...

Передернув плечами, Егор вытащил из сумки теплую куртку, огляделся и неторопливо направился на кладбище. Он шел по заросшим улочкам. Иногда останавливался, заглядывал во дворы и тут же возвращался на дорогу и шел дальше, озираясь по сторонам. Среди чернеющих груд и зарослей сорняков стоят яблоневые островки, а вот запаха яблок, какой ночами снился долгие годы – этого не было.

Егор стал подниматься на пологий холм, что стоял неподалеку от деревни. Там, среди берез, едва видны покосившиеся редко памятники, а большей частью кресты. Перешагнув через остатки изгороди, Егор начал осматриваться, вспоминая, куда он ходил с баб Таней и, не вспомнив, стал медленно бродить по старому заросшему кладбищу, надеясь отыскать баб Таню и деда. Где были фотографии, он внимательно всматривался, но везде чужие лица, а может позабытые... Замечая таблички, протирали пучком травы и, прищурившись, старался разобрать надписи. Долго блуждал между поваленными оградками, покосившимися крестами, пытаясь разыскать баб Таню и деда Акима, но бесполезно. Наверное, кресты подгнили, упали, а земля быстро делает свое дело, год-другой повалаются на сырой земле, и ничего не разберешь, никогда не узнаешь, кто тут покоится. Кладбище заброшенное, лишь несколько могилوک ухоженных. Видать, из других деревень приезжают, своих проводят. А там, когда пробирался между кустами, наткнулся на памятник. Что-то остановило его. Оглянулся. Показалось, чье-то знакомое лицо мелькнуло на потускневшей фотографии. Присел. Протер рукой. Всмотрелся. И не выдержал, медленно провел по снимку. На нем была Аленка Коняева. Та девчонка, что кормила его оладушками, до сих пор вкус вспоминается. Та девчонка, которая поцеловала его на сеновале, а он испугался и убежал. И уехал. Но всегда, где бы ни был, всегда вспоминал эту взбалмошную девчонку, которая хотела, чтобы в ее семье, когда она выйдет замуж, было

много-много ребяташек. И Егор, когда ехал сюда, в душе еще надеялся, мечтал, может, она не выходила замуж, его ждет. Вот и дождалась. Встретились... Подергав сорняки и траву, Егор протер памятник, подправил оградку. Присел рядышком. Долго сидел, о чем-то думая. Потом поднялся. Оглядываясь, медленно пошел к выходу. Опять перешагнул изгородь. И вздыхая, направился к деревне...

Егор шел по пустынной улице. Мертвая деревня, но казалось, сейчас откроется чья-нибудь калитка и выскочит мальчишка или девчонка и помчится по улице, а вслед раздастся голос, чтобы вернулся. А вон из той приоткрытой калитки появится дед. Усядется на лавку и начнет переключаться с таким же стариком на противоположной стороне улицы, и долго они будут беседовать, рассказывая друг другу новости. Вздрыгнул, когда из-под подворотни вылетела черная, как смоль, собачонка и залилась пронзительным лаем, кинулась к нему, а потом, испугавшись, поджала хвост и юркнула в какую-то щель и скрылась в разрушенном доме. У Егора дыхание перехватило. Остановившись, он пытался рассмотреть, куда спряталась собака, но ее не было видно, лишь из-под груды всякого хлама доносилось глухое рычание. Бедняжка, откуда же ты взялась в этой забытой Богом и людьми деревушке?

Дом, где жили баба Таня и дед Аким, он сразу заметил, едва вышел из проулка. Поднялся наискосок по пригорку и зашел во двор. От забора остались столбы, да в некоторых местах виднелось немножко штакетника. Крыша просела, обнажив стропила. Ставни держались крепко. Видать, когда закрывали дом после похорон деда, на совесть замотали толстой проволокой, чтобы никто не залез в избу. Продравшись через заросли репейника, что заплотонили весь двор, Егор осторожно поднялся по ступеням на крылечко. Оторвал доски, забитые крест-накрест, распахнул дверь, постоял, всматриваясь в полусумрак, шагнул внутрь, что-то уронил со скамьи, стоявшей возле двери, и облачко пыли повисло в воздухе, кружась в тонких лучах света, что проникали через дырявую крышу. На гвоздях, вбитых возле двери, висели запыленные, все в паутине, фуфайка, старый пиджак, из кармана виднеется какая-то тряпка, баб Танина жакетка и смятая шапка деда, на полу сбитый сапог – это деда Акима, изъеденные молью обрезанные валенки, пара галош и почему-то несколько тарелок, стопочкой сложенные на полу. Может, кто-то хотел забрать, но скорее всего, забыли. За дверью виднеется распахнутый сундук. Егор заглянул. Странно, столько лет прошло, а вещи до сих пор лежат. Везде толстый слой пыли и гирлянды паутины. Что-то прошуршало в тишине. Егор вздрогнул, оглянулся. Тишина. Наверное, мышь пробежала. А там, возле сундука, к стене прислонены удочки. Леска накручена на удилишки, толстые поплавки из пробок. С дедом на рыбалку ходили. Удочки смастерил толстые, крепкие и леску толстую поставил. Нет-нет, на речке можно было сазана поймать или крупного голавля. Вот дед на них охотился. Егору не доверял. Всегда говорил, что силы не хватит, чтобы такого зверя из воды выволочь. И, правда, не хватило... Дед куда-то отошел, а Егор увидел, что удочка по траве поползла. Бросился к ней. Схватил. В глубине, словно дикий зверь заметался. Всё пытался вырваться. Рванулся, и Егор не удержался, стал в речку съезжать. И руки не мог расцепить – испугался. Мотыляло его во все стороны, уже ноги в воде были, еще чуть-чуть и всё – с головкой уйдет, и тут дед прикондылял. Удочку вместе с Егором подхватил, так и выволок. И Егора вытащил, и рыбу. Здоровый сазан оказался. Потом дед Аким долго вспоминал и всем рассказывал, как Егорушка сазана поймал...

Разноголосо закрипели половицы. Егор осторожно прошел в избу. Постоял на кухне. Здесь было царство бабы Тани, куда она никого не допускала. Чугунки, две

сковороды, рядом пустые запыленные банки, на низкой лавочке – это дед Аким смастерил, стоит ведро. Егор заглянул. Слой пыли и мусор на дне. Ходики давно остановились. Егор хотел было запустить, а потом раздумал. Пусть показывает время, когда дом был жив, а сейчас умер, потому что не стало хозяина в доме. Пусть висят часы, нельзя прошлое тревожить.

В горнице повсюду пыль, как и во всем доме. Здесь особенно чувствуется застывание. Затхлый воздух, пахнет мышами и пылью. Серые неровные стены. Местами осыпалась штукатурка. Высокая кровать. До сих пор на ней лежат подушки и покрывало, словно ждут своего часа, что какой-нибудь уставший путник зайдет сюда и останется ночевать. Коврик над кроватью. Рядом этажерка, и на ней стопочка книг и два-три журнала. Дед Аким любил вечерами, когда все дела переделаны, присесть возле стола с книжкой в руках, надвинуть на крупный нос очки со сломанной дужкой и читать, медленно переворачивая странички. Возле стола валяется деревянный тяжелый протез. Видать, деда Акима без него похоронили. Егор поднял протез, поставил к стене. Подошел к стене, где в рамках висели фотографии. Немного. Всего несколько рамок, где они еще молодые с баб Таней сидят, напряженно выпрямив спины, и смотрят в объектив, а на второй фотографии дед Аким сидит, а баба Таня стоит и держит руку на его плече. И еще снимки, где дед был в форме. С войны вернулся. А здесь какая-то родня. Егор уж не помнил, кто на снимках, а может, забыл...

Он подошел к небольшому сундуку возле кровати. Баба Таня никогда не разрешала в него заглядывать. Могла крапивой отхлестать, если сунешься. Даже дед Аким не подходил. Егор оглянулся, взявшись за замочек. Такое чувство, что тебя поймали на месте преступления, сейчас баба Таня зайдет в горницу, нахмурится, брови сдвинет, погрозит пальцем, принесет пук крапивы и всыплет по первое число. Помедлив, Егор сорвал замочек и откинул крышку. Внутри сундука лежали несколько грамот и небольшой сверточек. Развернув старую газету, Егор положил на стол стопочку писем и несколько фотографий. Это были снимки их сыновей, погибших на войне. Вот и похоронки среди писем. Разложил на столе, как делала баба Таня. Долго рассматривал снимки. Молодые ребята. Пятеро. И ни один не вернулся. Все лежат в чужой земле. Егор не стал читать письма. Тяжело. Опять завернул в газету вместе с фотографиями и сунул в свою сумку. Негоже, когда живые забывают о мертвых. Негоже, но получается, что он забыл. Всю страну исколесил вдоль и поперек, а сюда не нашлось времени приехать, чтобы проведать стариков, а ведь они ждали. До последнего своего часа ждали, а он...

Долго просидел Егор в доме. Стариков вспоминал. А потом поднялся. Вышел. Снова прибил доски на место. Выбрался на дорогу. Тяжелые темные тучи до горизонта. Давят, к земле прижимают. Зашипела осенняя морось, скрывая округу в туманной мгле. Егор постоял, а потом пошел в сторону станции. Смотрел по сторонам, в воздухе стоял запах сырой земли, опавших листьев и пожухлой травы, и не было того яблоневого запаха, который ночами снился долгие годы, к которому он добирался через всю страну, как не было многого другого из далекого прошлого, что грело его долгие годы в дальних краях. Он шел на станцию и не знал, вернется ли сюда, как не знал того, куда на этот раз увезет поезд его судьбы. И будет ли остановка на этой станции или опять мимо проедет.

Скорее всего, поезд его судьбы мимо промчится, и опять будет колесить по стране в поисках призрачного счастья.

Всё может быть...

«ОСТАВИМ ЭТОТ СВЕТ ПОТОМКАМ НАШИМ...»

ПАМЯТИ МАИСА ГАДЖИЕВА

Сиявуш Мамедзаде, поэт, переводчик:

Я не фаталист, не верю во всякую мистическую «цифирь» и хронологические «совпадения». Тем не менее, год 2017 нанес несколько непоправимых ран по сердцам представителей моего литературного поколения и плеяды неповторимых подвижников нашей и мировой культуры.

Не буду перечислять имена тех, без которых мы продолжаем жить и идти навстречу быстротекущему и безжалостному времени.

7 августа не стало Маиса Гаджиева. Его проводили в последний путь и похоронили на его родине – на высоком зеленом холме в Гусаре, маленьком городке, где он родился.

Для меня он был замечательным, надежным другом и товарищем по работе. Судьба свела нас в редакции «Бакинского рабочего» – флагмане нашей русскоязычной прессы.

Сказать, что мы «горели на работе», «разбивались в лепешку», чтобы выполнить задание, – это инерция газетных штампов!

Мы пересекались по разным параметрам биографических и родственных уз.

Анеля Ордуханова, супруга моего друга, жила в нашем дворе, по тогдашнему проспекту имени Ленина, ныне – «Азадлыг», в знаменитом «Доме специалистов» № 80.

Фамилия Ордухановы у меня на слуху. Это фамилия отца Анели, Абдуллы Агамирзоевича (мир его праху). Сын его, старший брат Анели, Шовкет Ордуханов, был начальником команды «Нефтчи»: тогда команда переживала расцвет (бронза на чемпионате СССР!). Шовкет трагически погиб.

Слава «Нефтчи» угасла, сменились поколения, ушли «звезды»...

В «Бакинском рабочем» мы ежедневно встречались с незабвенным Маисом по делу и без. Главный редактор Ирада Векилова великодушно терпела наши «посиделки» у меня в кабинете за шахматами (и не только). Анеля тогда работала в «Молодежке» и, бывало, справлялась у меня о местонахождении отсутствующего мужа. Иногда я, мягко говоря, отводил «грозу».

Меня подкупала в Маисе общительность, человечность, благородная толерантность и чувство товарищества.

Недавно я подумал, что давно его не видел. Теперь уже – никогда! Ему было суждено не дожить до своего 80-летия – оставался год до мая 2018.

Я чувствую, что память моя выплескивает все новые и новые страницы...

Прощай, Маис!

Пусть земля тебе будет пухом!

Бахыш Бабаев, писатель:

Трудно писать о человеке в прошедшем времени, которого хорошо знал, уважал и любил без малого полвека. Несмотря на разницу в возрасте, – он был старше меня лет на десять, – нас связывали очень тесные дружеские отношения.

Свою профессиональную деятельность заслуженный журналист Азербайджана Маис Гаджиев начинал, как говорится, «от сохи». После окончания филологического факультета Азербайджанского Государственного университета имени С.М.Кирова он работал редактором заводской многотиражки, потом корреспондентом в газетах «Коммунист Сумгаита», «Строитель», «Вышка», редактором на Азербайджанском телевидении... Последняя должность – заместитель главного редактора газеты «Бакинский рабочий». И везде, где бы он ни работал, Маис честно и бескорыстно исполнял свои обязанности, вдумчиво и аналитически подходил не только к своему творчеству, но и к работам молодых авторов, которых он воспитывал на протяжении нескольких десятилетий.

Всесторонне образованный, талантливый, скромный, отзывчивый, доброжелательный, – к нему тянулись все, – и коллеги, и совсем посторонние люди. Я всегда удивлялся его способности находить общий язык и с министром, и с продавцом овощей, с малым ребенком и со стариком. Хотя чему тут удивляться, ведь он был замечательным слушателем и обладал тонким поэтическим даром. Не зря его поэма, опубликованная в свое время в газете «Молодежь Азербайджана», а позже вошедшая в поэтический сборник, так и называлась – «Здравствуй, народ!».

«Была. Трагичней не придумать слова...» – писала Юлия Друнина о Веронике Тушновой. Теперь это слово «был» мы с болью в душе применяем к Маису Гаджиеву.

Прощай наш дорогой коллега, соратник, друг! Светлая память о тебе навсегда сохранится в сердцах тех, кто тебя знал и любил!

Тогрул Джуварлы, журналист:

Только что позвонили и сказали, что Маиса нет. Стареешь, привыкаешь к мысли, что все уходит. Но вдруг уходит кто-то, и понимаешь, что ни к чему не привык.

Еле сдерживаюсь от подступающего к горлу комка – как это нет Маиса?.. Хочется зарыдать как в детстве, когда у тебя отняли что-то, что должно было остаться твоим до самого конца твоей жизни. Я любил его безмерно.

Он мог внезапно исчезнуть на многие месяцы, но я всегда знал, что он есть – добрый, талантливый, тонкий человек. Потом он внезапно появлялся вновь.

И никогда не звонил, приходил без звонка, по-бакински. И уже если пришел, то мы сидели и гоняли чай и кофе долгими часами. И не было ни месяцев, что мы не виделись, ни каких-то других дел. У нас в прошлом было столько общих воспоминаний, привязанностей, что этого хватало бы на долгие годы общения. Потом мы обычно выходили в город и на каждом углу вспоминали, что здесь с нами было, и вспоминали друзей, которые ушли. Вспоминали так, как если бы они все еще были здесь... Как легко это получалось с Маисом. Без него на этих улицах будет очень одиноко.

Он был очень талантлив как поэт. Но так и не превратил стихосложение в профессию. Он был мудр, принимал жизнь, какой она есть, и никогда не ныл, что наши

жизни подходят к концу и скоро уходить. Признав однажды для себя, что бытие и небытие остаются загадкой, он предпочитал больше не заниматься этой загадкой и просто любовался жизнью.

И все равно больно и тоскливо. И почему я перед отъездом в Канаду не зашел к вам? Что-то закрутило, понесло. В мае все-таки заглянул в фейсбук и обрадовался, что его поздравляют с днем рождения, и Маис жив и здоров, и сказал себе – ничего, скоро буду в Баку, найдемся, пообщаемся...

Знаю, что ваша боль намного острее и пишу вам так длинно, чтобы вы знали, что и друзья любили его очень сильно. Иногда в этом тоже находишь пусть слабое, но утешение. Анеля, он был счастлив с тобой, и ты была с ним до самого конца. И своих детей он любил невероятно.

Язык не поворачивается сказать: прощай, Маис».

Калгари, Канада

Анеля Ордуханова, журналист:

Очень тяжело придумать первую фразу. Фраза не придумывается. Не хочу общих слов, штампов, перечислений заслуг и должностей. Не хочу сентиментальных воспоминаний. Поэтому пишу просто:

37 лет вместе. Вместе в семье и работе, в творчестве, в любви и дружбе, в воспитании детей, в мечтах и планах, в пристрастиях и предпочтениях, в неприязни и неприятии, в радости и горе... Но от этой простоты больно вдвойне.

Маис прожил яркую интересную жизнь. И прожил ее легко, несмотря на все трудности. Он и умер легко, никого не мучая, как солдат, как мой отец, которым он всегда восхищался: еще вчера был на ногах, а через два дня его не стало. Сказать, что он был уникальной личностью, значит не сказать ничего. Ему от Бога было дано все: он прекрасно рисовал, у нас на даче хранятся его картины, у него был хороший музыкальный слух и голос, и он любил петь итальянские серенады и азербайджанские народные песни. Без музыкального образования сам выучился подбирать на фортепьяно любимые мелодии.

Он был талантливый поэт и переводчик, и чутко ощущал вибрацию каждого слова, быстро отмечая в сторону слова неточные, приблизительные, фальшивые.

Он изучал лингвистику и даже написал диссертацию о тонкостях поэтического перевода, но так и не собрался ее защитить.

И все это он делал играючи, без напряжения, не стремясь достичь каких-то особых высот и наград. Кому-то хватило бы малой толики его талантов, чтобы прославиться и стать «богатым и успешным» в современном понимании этого слова. Но он был другой.

Он был человеком эпохи Возрождения. Как и все поколение его друзей, бакинцев-шестидесятников, – Мансур Векилов, Александр Халдеев, Рауф Сафаров, Гюндуз Сариев, Сиявуш Мамедзаде, Сева Таиров, Валерий Ивченко, Кямал Асланов, Тогрул Джуварлы, Владимир Халдыбанов, Гаджи Гаджиев, Александр Грич...

Он написал роман об этом поколении. Но так его и не опубликовал. Он написал сценарий о своем детстве, которое пришлось на тяжелые военные годы. Но так и не снял фильм. От него остался только тоненький сборник стихов с предисловием

Рауфа Сафарова. И тот был бы не издан, если бы мы с дочерью не собрали его стихи, разбросанные по разным папкам, и тайком от него напечатали в издательстве, чтобы сделать ему подарок к его 60-летию.

А еще от него осталась живая память – внучка Маиса, которая очень любила своего «баба». Они были неразлучны – Маис и Маиса. Когда я сказала ей, что пишу про ее «баба», который ушел от нас и уже не вернется, она задумалась, а потом заявила:

– Напиши, чтобы Аллах-баба о нем хорошо заботился, чтобы он не болел.

– Ладно, – сказала я четырехлетней малышке. – А что еще?

– Ну-у-у... Пусть он там тоже работает и пишет книги.

– Хорошо, – согласилась я. А сама подумала, что через год на надгробии Маиса мы обязательно поместим строки из его стихотворения «Раздумье»:

*Уходят люди от земных трудов, –
Уйдем и мы, поверь, конец не страшен,
Надгробия куда пониже башен,
А все кладбища меньше городов.*

Оставим этот свет потомкам нашим.

Он был светлым человеком. И этот свет будет светить его потомкам всегда.

Коллектив редакции журнала «Литературный Азербайджан» выражает глубокое соболезнование родным, близким и друзьям Маиса Гаджиева.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!



ЛЯМАН БАГИРОВА

Н О В Е Л Л Ы

Когда я вернусь

*Когда я вернусь,
Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать небо,
И ладана запах, как запах уютского хлеба,
Ударит в меня и заплещется в сердце моем –
Когда я вернусь.
А когда я вернусь?!*

А. Галич

Непонятные сны стали одолевать в последнее время Петра Леонтьевича Страннолюбского. Снилось ему почти всегда одно и то же: квадрат двора-колодца, в котором прошло его детство. По периметру квадрата были протянуты веревки с вечно сохнувшим бельем. У одной стены сидела на лавочке соседка – глухая старуха Роза, у другой – безногий, средних лет инвалид Иннокентий тянул под гитару романс «Изумруд». Вдоль третьей стены молодая мамаша Тамара катала коляску с младенцем. У четвертой – с выходом на улицу – не было никого. Все, как обычно, все, как в детстве, когда Петр Леонтьевич, тогда еще краснощекий, буйнокудрый карапуз в штанишках на ляпочках бегал по двору с мячиком. Сейчас румянец подувял, кудри изрядно поредели, штанишки на ляпочках давно сменились respectable костюмом и ремнем из настоящей кожи. Исчезла живость в движениях, зато появилась солидность уважаемого пятидесятипятилетнего человека, профессора, доктора химических наук, отца семейства и счастливого деда двухлетнего чуда с хвостиками – внуки Софиньки. Дом – полная чаша, в семье – идеальный порядок, с женой – лад, на работе – на цыпочках ходят: шутка сказать! – руководитель лаборатории непредельных углеводов. Одно название чего стоит!

И вот – на тебе! Начал маяться странными снами Петр Леонтьевич с конца февраля. Не помогали ни снотворное, ни усталость на работе, ни сладкая послелюбовная опустошенность. Из ночи в ночь – как заговоренное: старый двор-колодец, старуха Роза с неподвижными, чугунными от многолетней работы руками на коленях, раззявленный щербатый рот инвалида Кеши и монотонное Тамарино: «*Котя-котинька, коток, котя-серенький хвосток, приди, котя, ночевать, нашу детоньку качать*». Но ленивый Котя, очевидно, запаздывал, потому что младенец ныл на одной ноте и никак не засыпал. И себя – бегающего, подкидывающего мячик – видел Петр Леонтьевич, и мячик все норовил выкатиться со двора, а мать кричала:

– Не смей выбегать на улицу! Там машины!

И явственно слышал во сне Петр Леонтьевич хриплый, чародейный Кешин голос:

*Нет, ни пурпурный рубин, ни аметист лиловый,
Ни наглой белизной сверкающий алмаз
Не подошли бы так к лучистости суровой
Холодных ваших глаз,
Как этот тонко ограненный,
Хранящий тайну черных руд,
Ничьим огнем не опаленный,
Ни в что на свете не влюбленный
Темно-зеленый изумруд.*

В этом месте профессор всегда вскакивал в холодном поту. Будто душу выворачивал проклятый Кешка, и горько-тревожно сжималось сердце.

– Да что с тобой? – как-то спросила жена. – Которую неделю как заведенный к четырем вскакиваешь. Может, к врачу надо?

– Обойдется, – махнул рукой Страннолюбский. – Переход на весну, организм перестраивается, случается такое.

– Что-то раньше не случалось, – проворчала жена. – Странно как-то.

– Ну, раньше... Раньше и мы с тобой помоложе были, – профессор легонько шлепнул жену по мягкому месту, но та уже обняла подушку и мерно засопела.

А Страннолюбский до боли в глазах вглядывался в одинокую звезду на сером небе и снова проваливался в тревожную яму сна.

...Он знал, для кого чародействует, нежно рвет сердце Кеша. Красавица Глаша, Аглая, зеленоглазая ворожея. Соседка со второго этажа, крепкозубая, смешливая, ладная от пяточек до маковки. Предмет жгучей женской зависти и мужского восторга. «Шал..а», – награждали ее женщины обидным прозвищем, когда она, поблескивая крепкими круглыми икрами, поднималась по лестнице к себе. Мужчины выворачивали шеи и прицокивали. Кеше одному позволялось высказывать свой и общий восторг. Он считался вроде как за блаженного.

К Глаше часто ходили гости. Поднимались по шаткой лестнице хромовые сапоги, лакированные остроносые туфли, грубые башмаки, подбитые гвоздями, шевровые ботинки. Петя, приоткрыв рот, смотрел, как исчезает за выщербленным порогом разнообразная обувь, слушал, как дрожат от вихревой «Рио-риты» стекла Глашиных окон.

– Малец, варежку-то закрой! – беззлобно скалился Кеша. – Не про нашу честь! Ты ей по боку по малости лет, я – по убогости. Хороша Глаша, да не наша!

– Кеш! – окно на втором этаже растворялось, и из него выглядывала Глаша – смеющаяся, кудрявая. – Опять меня склоняешь?

– Я вас, Аглая Дмитриевна, – церемонно хрипел Кеша, – ни на что еще не склонял. Мы тут с Петром беседуем.

– Ха-ха-ха, – дробился Глашин смех, ударял в стекла солнечными лучами.

– Йэ-э-эх! – вскидывался немощным телом Кеша. – Утеха! – цепкие паучьи пальцы сильнее сжимали гриф гитары, и он выводил яростно-нежно:

*Мне не под силу боль мучительных страданий;
Пускай разлукою ослабят их года, –
Чтоб в ярком золоте моих воспоминаний
Сверкали б вы всегда,
Как этот тонко ограненный,
Хранящий тайну черных руд,*

*Ничьим огнем не опаленный,
Ни в что на свете не влюбленный
Темно-зеленый изумруд.*

А потом увез Глашу владелец шевровых ботинок. Зачастил подниматься по шаткой лестнице и однажды девушка спустилась вместе с ним в нарядных красных туфельках. И серое крепдешинное платье так ладно оведало полные белые ноги. И весь двор желал ей счастья, даже те, кто называл обидными словами, потому что не было злобы в Глаше, и с каждым она простилась тепло и сердечно. И все думали: как же теперь они будут без Глаши, без ее смеха и вихревой, гремящей «Рио-Риты»?

– Поганка! – сплюнул желтой слюной Кеша и вытер глаза. – И на кой он ей сдался? Щелкун! Какой с него муж?

Петя смотрел, как зачарованный, на то, как прощалась-кланялась девушка, но только когда, подхватив кадку с фикусом и патефон, она стала садиться в машину, он понял, что это навсегда, что сейчас синяя большая громада на колесах навсегда увезет Глашу. И заревел, оторвался от земли, полетел к ней, уткнулся с размаху в теплые, добрые колени, потому что нет возраста у любви и не хочется с ней расставаться, если она и вправду любовь...

И Глаша, зеленоглазая ворожея, опустила перед ним на корточки, прижимала к душистому крепдешинному платью, целовала, уговаривала:

– Ну что ты, маленький?! Петя, Петенька, я же буду приезжать, я же не навсегда уезжаю. Вот непременно приеду, привезу тебе большую игрушку и мячик новый. Ну как тебе не стыдно, а еще Петр! Знаешь, что это? Камень! А разве камни плачут?

Но он не слушал ее, рыдал горько и отчаянно, и в унисон ему голосил Тамарин младенец, будто провожали они Глашу в дальнюю невозвратную дорогу. И когда, наконец, синяя машина двинулась к четвертой стене и выехала со двора на улицу, то он побежал за нею, и бежал бы долго, если бы мама не кинулась вдогонку и не давала подзатыльников со словами:

– Я кому говорила, неслуж? Под машину хочешь попасть? А измазался-то как! Марш домой!

*Когда я вернусь,
Засвистят в феврале соловьи –
Тот старый мотив – тот давнишний, забытый, запетый.
И я упаду, побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои!
Когда я вернусь.*

А ведь обманула Глаша. Не вернулась. И двор-колодец продолжал жить своей жизнью, только без «Рио-Риты», и про изумруд Кеша выводил уже редко и как-то неохотно. Пел все больше другие песни. Подрос Тамарин младенец, катал в коляске брата, и только старуха Роза продолжала сидеть у стены на деревянной табуретке.

– Ничего особенного у вашего мужа я не нахожу, – угрюмая женщина-невропатолог шелестела бланками рецептов. – Реакции хорошие, заторможенности нет, небольшая дискинезия век. Легкие тоже чистые. Легкий невроз, сезонная депрессия. Гемоглобин, правда, низковат. Впрочем, есть шумы в сердце, могу посоветовать хо-

рошего кардиолога. А вообще желательно съездить на курорт, отдохнуть. Вы давно были в отпуске?

– Летом, – быстро ответила жена. Ей удалось-таки затащить Страннолюбского к врачу. – Вы понимаете, особо ничего не беспокоит, но вот стал вскакивать в половине четвертого-четыре, как будто его кто подбрасывает на кровати.

– Отдых! – решительно сказала врач. – Ванны расслабляющие. Глицин, настойки боярышника, пустырника, валерьянки рекомендую принимать. Хорошо еще компоты из ягод боярышника попить. Ничего острого, жирного, тяжелого на ночь не есть, больше гулять. И в отпуск, в отпуск! Серьезных препаратов я вам не прописываю, пока нет надобности, но кардиологу все же покажитесь. С 50 до 63 – мужчины в группе риска. Всего доброго!

– Какой отпуск?! – махнул рукой Страннолюбский. – У меня два аспиранта защищаются, работа в лаборатории не окончена. Куда сейчас?

– А по-твоему это хорошо – вскакивать среди ночи в поту? – парировала жена. – О себе не думаешь – о нас подумай, о Софиньке.

– Да ну... Глупости все. Летом поедem. А по врачам я больше не пойду. – Петр Леонтьевич зашагал быстрее, оставив жену позади.

...Он знал, что вернется. Когда – это были уже мелочи. Он привык к своему сну и жалел только, что не увидит Глашу и не спросит, привезла ли она ему новый мячик. В одну из теплых весенних ночей Петр Леонтьевич проснулся, как обычно, без четверти четыре. В форточку светила насмешливая зеленоватая звезда. Из парка напротив тянуло запахом зацветающего дикого жасмина. Захотелось пить. Жена мерно посапывала рядом. Страннолюбский взял в руки стакан, загодя поставленный ею на тумбочку, выпил жадно. Снова лег. Вода не принесла ему облегчения, была неприятного металлического вкуса. Что-то несильно толкнуло слева в грудь и сдавило, будто мягкими лапами.

– Хы-ы-ы! – попытался крикнуть Петр Леонтьевич. Но звука не получилось. Захотел растолкать жену, но рука не слушалась. Сердце прыгнуло мячиком в двор-колодец, и Петр Леонтьевич бросился догонять его. Пробежал мимо старухи Розы, инвалида Кеши с гитарой, Тамары с коляской. Остановился, переведя дух, посреди двора и поразился сам себе – какой же он стал маленький. Меньше красного мяча, который он, наконец, поймал.

– Петя!!! – кричала мать из окна. – Ты опять выскочил на улицу? погоди, дождешься у меня! Марш домой!..

– Я ему говорила, говорила! – причитала на поминках жена. – И врач тоже! Отдых нужен был, заездил совсем себя работой этой. Но он разве слушал? Все аспиранты, лаборатория чертова. Себя не жалел, и нас не жалел!

Собравшиеся прилично сморкались в платочки, ковыряли еду на тарелках. Больше всего убивались два молоденьких аспиранта. Старшие коллеги жалели о безвременной погасшей жизни и в глубине души радовались, что чаша сия и на этот раз прошла мимо них.

Через год с небольшим Петра Леонтьевича почти никто не вспоминал. Лабораторию его объединили с другой, пришел новый заведующий, был утвержден дру-

гой план работ, появились новые сотрудники, и вскоре сама память о талантливом ученом осталась в архивных записях, да изредка – в тихих разговорах старожилов.

После второй годовщины вдова Страннолюбского, перебирая хлам на чердаке, отдала дочери стопку старых пластинок.

– Увези ты их, бога ради, куда подальше. Не могу их слушать. Там все романсы старинные, отец твой их очень любил, а я не могу. Тяжко. Будто с ними и ушел. Не хочу. Глаза бы мои их не видели...

Je t'aime

Она округлая и любит округлое. Большая, словно медведица, на удивление увертливая, крепкотелая, с серебристо-белыми волосами и ярко-голубыми глазами. Сидит, уютно поставив круглые локти на круглый стол, накрытый темно-зеленой плюшевой скатертью, что-то вышивает. Я играю фестончиками скатерти, смотрю, как мелькают в ее руках разноцветные нити, и тоже размещаю свои острые локотки на столе.

– Ньйи волно (*Нельзя*), – голос ее звучит ласково, но твердо, и изысканные слова незнакомой речи завораживают меня.

– Почему?! Тебе можно, а мне нельзя?! Лъзя!!! – мне пять лет, и я жонглирую языком, как вздумается! Удивительное ощущение лингвистической свободы, сияющий филологический полет! Никогда потом уже не подняться в него – знания давят балластом!

– Мне можно. Я старая. А тебе в жизнь входить, дом водить. Не комильфо, цуречка! (*доченька*)

– Почему ты так говоришь? – я кричу, и одновременно в моих карих и ее голубых глазах вспыхивают веселые искорки.

– Потому что я полька. Есть такая страна – Польша. А в ней город Краков. Колбасу краковскую любишь? Вот она из города Краков.

Для меня все колбасы делятся на вкусные и не очень. В последнее время тех, которые «не очень», не было. Я киваю головой. Она удовлетворенно улыбается.

– А еще в Кракове есть красивые дома, высокие сосны и большая река. Синяя-синяя.

– Как твои глазки? – я смеюсь.

– Краше. – Она задумывается, потом тихонько поет:

*Ой, ты Висла голубая,
Как цветок,
Ты бежишь в чужие земли,
Путь далек...*

– Я тоже хочу в Польшу! – мой крик утвердителен и победоносен. Для пущей важности я стучу кулачком по столу, и фестоны скатерти подпрыгивают в знак согласия!

Она молчит с минуту, потом гладит меня по голове. Рука у нее маленькая, натруженная, тяжелая и немного дрожит.

– Куделька моя! – она убирает руку, мои кудряшки пружинят вверх. – А локти на стол все же не клади. И не чавкай, когда ешь. А то приедет из-за синих гор принц

на белом коне за тобой, увидит, что такая красивая барышня локти на стол кладет и громко жует, огорчится и уедет обратно.

– Огорчится – горчицу съест?! – я продолжаю играть словами.

– Нет, без горчицы уедет грустный обратно. Скажет: я хотел ее сделать королевой, а она вести себя не умеет. Не комильфо!

– Пусть уезжает! – перспектива замужества с капризным печальным принцем меня несколько не привлекает, и я легкомысленно расстаюсь с ней. – Он сам не комифо.

– Не комильфо. Это по-французски. Комильфо – как надо, не комильфо – как нельзя.

– Откуда ты все знаешь?

– Я во французской гимназии – школе, то есть, – училась.

Ого! Французская гимназия в Польше – это что-то с чем-то! Франция! Страна волшебных духов «Климá», которыми так дорожит моя мама. Мое воображение мгновенно накрывают синие воды Вислы, и окутывает флер чего-то воздушного, безешного, французско-парфюмного. Я распахиваю глаза пошире.

– Скажи что-нибудь по-французски! Нет, по-польски! Ну, скажи!!!

– Не вертись! (*это по русски*) Je t'aime (*я тебя люблю – по французски*), Kocham się (*я тебя люблю – по польски*). Оставь в покое хвост Барсика! Вот егоза! А теперь давай читать, ты за целый день и строчки не прочла! (*все три фразы – скороговоркой на русском!*)

– Не хочу читать! Расскажи что-нибудь!

– Еще как хочешь! На чем мы остановились?

– М-м-м...Девочка...

– «Девочка со спичками». Открывай книгу. – Она подвигает мне старенький томик сказок Андерсена в синем переплете.

– *«Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году – канун Нового года»...* – Я без энтузиазма тяну по слогам слова. В майский теплый вечер трудно читать про холодные рождественские сумерки. Но она неумолима!

– Вот прочтешь до конца страницы – она маленькая! – и пойдем гулять!

– Расскажешь про Польшу? А про Францию? – торгуюсь я.

– Расскажу, – на дне голубых глаз вспыхивает и гаснет усмешка.

Я удовлетворенно прижимаюсь к ее теплому круглому боку. К другому боку прижимается четырехмесячный потомственный «дворянин» Барсик неопределенного цвета и сомнительных манер. И она еще говорит, что я не комильфо! Кто точно не комильфо, так этот хвостатый! Ворует, что ни попадя, – видно, тяжелое «дворянское» детство сказывается, и портит кустики гвоздики на балконе.

Мы замираем так на минуту. Она молчит, прикрыв глаза и подперев голову рукою...

Иногда к ней приходят две приятельницы. Степенные, опрятные старушки. Рассаживаются у небогатого стола, вздыхают и расправляют на коленях чистые платочки. Угощение нехитрое – пирог-скородум с капустой, рассыпчатая горячая картошка с укропом, селедка, украшенная кольцами красного лука, домашняя кизилловая наливка. Поверх будничной плюшевой скатерти – нарядная льняная, вышитая гладью.

Старушки чинно выпивают, закусывают, тихо беседуют, потом одна из них сни-

мает со стены гитару.

Поют много. Задумчиво, уйдя в себя, даже нехотя. Но с таким чувством, какого мне больше не доводилось слышать. Поют о том, что «в степи глухой замерзал ямщик», и о том, что в «лунном сиянии снег серебрится», и «что стоит, качаясь, тонкая рябина».

И напоследок всегда поют пронзительно, впечатывают в небеса надтреснутую женскую долю:

*Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки,
Позарастали мохом-травой,
Где мы встречались, милый, с тобою...*

О-о-о-ю-ю... Последний звук растворяется в воздухе...

Они прикрывают глаза. Мойры. Богини судьбы. Где-то в отстраненной памяти их взрываются города, грохочет война, репрессии косят родных и близких, погибают любимые, умирают от голода и тифа дети. Но они плывут над страданием, они молоды, и на талиях их можно сомкнуть руки. И среди них – она, моя няня, тоненькая, прелестная, говорящая по-французски с легким польским акцентом, волей судьбы занесенная в Баку.

Она так и не увидела больше голубой, как цветок, Вислы, не дождалась внуков и всю свою нежность перенесла на меня – соседскую девочку с темными, вспыхивающими как спичка, и все запоминающими глазами...

... – Скажи что-нибудь по-французски! Нет, по-польски! Ну, скажи, цуречка!!!
– Je t'aime (я тебя люблю – по-французски), Kocham cię (я тебя люблю – по-польски).

Я помню о тебе, няня моя, Елизавета Станиславовна Крашевска-Зозуля (20 октября 1909 года, Краков – 15 января 1988 года, Баку).

Я помню о тебе...

Ноланец

История, рассказанная знакомым

Он был живое воплощение асимметрии. Не той, что притягивает взор милой неправильностью черт, и не той, что отталкивает явным уродством. А поражает так, что мысленно восклицаешь: «Ничего себе! И учудила же природа!»

Асимметричным было все: дынеобразная голова, очень узкое лицо со скошенным, как у комика Тото, подбородком, оттопыренные под разным углом уши-вареники, кривое переносье, покатый лоб, низко заросший волосами с одной стороны. Левое веко казалось птичьим из-за сильно опущенного уголка глаза. Немного короткая правая нога заставляла его странно выворачивать ступню при ходьбе, и правое плечо было ниже левого. Но все это нисколько не мешало ему: наоборот, он был – ртуть, огонь, сгусток кипучей юношеской энергии, при которой сама эта некрасивость

была обаятельна. словно дурашливый химик-самоучка смешал в реторте несовместимые вещества, но – счастлив Бог дураков! – вещества не только не разъялись, но гремучая смесь их явила миру нечто яркое и запоминающееся. Много минусов в конце концов дают один гигантский плюс. «Гармония дисгармонии», – метко окрестила его училка по истории, дама весьма ироничная и острая на язык. Она же предрекала ему большой успех у женщин, прибавляя, как аксиому: «Любила же Джозиана своего Гуинплена».

Мы – восьмиклассники-оболтусы, интересующиеся, помимо учебы, буквально всем, чем можно интересоваться в четырнадцать лет, понятия не имели, кто такой Гуинпен, но прозвище к Лаврику Кострову пристало всерьез и надолго. Впрочем, как и многие другие клички. Ни один из нас не мог похвастаться таким количеством прозвищ, добродушных и задиристых, на которые он никогда не обижался и лишь фонтанировал новыми вспышками смеха и забавных историй. Его дразнили Лягухой, Профилем, почему-то Пластырем, Лаврушкой, Гусем, Костерком и Бог его знает, кем еще...

Он был неистощим на выдумки, шутки, остроты, они сыпались из него, словно из прохудившегося разноцветного мешка. Ни одна наша вечеринка, ни один школьный вечер не обходились без него. Надо было видеть, как с неуклюжей грацией он обхаживал девчонок из класса. Те уже вступали в пору девичества, юная тугая плоть властно пробивалась сквозь одежду, и женское чутье безошибочно улавливало проявляемый к ним интерес. То, что вытворял Лаврик, не мог сделать никто. Пока в наших телах гадких утят еще дремали прекрасные лебеди, пока в нескладных юношеских фигурах только намечалась ладность мужской стати, асимметричный Лаврик бурлил фантазией, искрился обаянием, очаровывал, вдохновлял и влюблял в себя. Он был достаточно начитан, декламировал стихи, танцевал, пел, играл на гитаре, знал карту звездного неба, считал математику царицей всех наук, лазал по деревьям, как лемур, разбирался в аквариумных рыбах и комнатных цветах, мог испечь шоколадный рулет со сгущенкой и вообще был наделен массой талантов, какие нам и не снились. При этом таланты эти подавались с такой горячей восторженностью, такой страстной неукротимостью, что поневоле казалось: только так – взхлеб, на краткий выдох и вздох, на яркость и порыв можно жить! Только так и никак иначе.

Но, пожалуй, тем, что выгодно отличало Лаврика от нас, – и влюбленных, и завидующих, – было уважение. Большая редкость: его уважали и ученики, и учителя, и даже родители учеников. Не было случая, чтобы Лаврик кого-нибудь предал, смолчал перед несправедливостью, не заступился бы за обижаемого. Не бы-ло!!! И получал же он за это неслабо, и пропесочивали его на педсоветах, в кабинете директора, и драли родители, но Лаврик был непоколебим. Когда его особо донимали, он вытягивался в струнку и с каменным лицом отчеканивал: *«Когда вы не будете знать, кому служить, колеблясь между материальной видимостью и невидимым принципом, выбирайте принцип, в котором все»*. Против постулата Дюма возразить было нечего, да и непедагогично, и Лаврика оставляли на время в покое.

Любимым его стихотворением было пушкинское «Жил на свете рыцарь бедный». Он декламировал его с такой неумолимой средневековой одержимостью, что узкое лицо бледнело до синевы, рот пересыхал, и сам он походил на легендарных паладинов прошлого – Роланда, Персеваля, Астольфа. Шагнущие из своего мрачного небытия, они невидимой стеной стояли за нашим Лавриком и сообщали ему силу. В эти минуты он казался почти величественным. После декламации повисала тишина,

Лаврик благородно кивал головой-дыней и ... сонм паладинов рассеивался. Благородный кивок никак не давался Кострову и выглядел немного комично.

Но окончательно Лаврик потерял покой, когда случайно наткнулся на книгу о Джордано Бруно. Все! Огонь, некогда спаливший ученого, казалось, вспыхнул с новой силой в душе Лаврика. Пепел Бруно стучал в его сердце! Лаврик жил Джордано, он бредил им. В день казни астронома, 17 февраля, он непременно облачался в черную рубашку, слова «Джордано из Нолы, Неистовый Ноланец» произносились им с такой нежностью, что далекая Нола непременно включила бы Лаврика в число своих почетных жителей, если бы... догадывалась о его существовании.

Мы немедленно окрестили Лаврика новой кличкой «Ноланец», и она была единственной, на которую он не отшучивался, а наоборот, гордился. Словно отблеск костра Бруно лег и на его лицо.

С появлением в классе Лады Варенковой Лаврик обрел Даму сердца. Дочь геологов, сменившая за время учебы четыре школы, действительно была красавицей с тонкими чертами лица, золотистыми волосами, нежной чистой кожей и – редкость для блондинки – темно-кариими глазами-вишнями. Лада словно была устремлена в какую-то запредельную высоту, и облик ее напоминал стрельчатые окна готических храмов.

Внимания Лады добивалась вся мальчишеская аудитория старших классов, но Мадонна была равна и безразлично приветлива со всеми. Девочки, конечно, жутко завидовали и сплетничали втихомолку. Однако пищи для сплетен не было, Лада была безукоризненна, и энергия ненависти умирала, не находя выхода. Лишь однажды первая задира в классе Динка Шепотушкина, у которой от вечного любопытства постоянно горели уши, прибежала из физкультурной раздевалки и победным шепотом выбросила:

– А у Мадоннки-то пальцы на ногах кривые!

Сколько же в этом шепоте-вопле было радости! Как мгновенно загорелись глаза у девчонок! Удалось поколебать запрестольный образ, красота оказалась с изъязном, пусть совсем маленьким, вполне извинительным, но изъязн этот приближал Мадонну к ним, уменьшал расстояние между небом и землей, на которой были они – все во власти пробуждающихся гормонов, угреватые, прыщавые, смешные...

Лаврик стал тенью Мадонны. Как-то сами собой отпали от него друзья-товарищи. Он перестал быть вечным двигателем, беззлобным балагуром-гаером, и истина выступила из лохмотьев шутовского колпака – мы любили не Лаврика, а хорошее настроение, которое он создавал, его умение разрядить любую обстановку. Мы насыщались от него радостью, и вот – источник питания иссяк. Теперь он и вправду имел «одно виденье, непостижное уму», был горящим Ноланцем, «рыцарем бедным», честнейшим, верным, преданным своей Ладушке.

Она не была сильна в математике. Это воодушевляло Лаврика. На контрольных он виртуозно подсовывал ей листочки с правильными решениями, умудрялся выручать и при устных ответах. Мадонна скользила по нему сонно-благодарным взглядом, кивала одними ресницами (ух, эти ресницы! Казалось, что на глаза опускались мохнатые золотые шмели), и Лаврик был счастлив.

Восьмого мая наша, в общем-то, благодушная математичка влетела в класс, взволнованная донельзя:

– Так, мозги в кучу все собрали! Сейчас проверяющие из РОНО контрольный урок проводить будут. Не подведите!

Пришли директор, завучи и три проверяющие дамы, одетые с ног до головы почему-то в черное. Крупногабаритные, с каменными лицами дамы в черном имели вполне инквизиторский вид.

Карты в этот день легли плохо. Вызвали Мадонну. Лаврик извивался ужом, палимый огнем бессилия: помочь Ладушке не было никакой возможности. Она уверенно шла ко дну, запинаясь, покрывалась пятнами, крошила мел. Лаврик добела сжимал руки. Девчонки тихо хихикали. Математичка буравила Мадонну взглядом. Это не обещало ничего хорошего.

Наконец ее отправили на место. Она будто стала ниже ростом, и волосы потускнели. Золотые шмели опустились, и на них показалась прозрачная капля. Этого Лаврик вынести уже не мог. Вызвался отвечать, произвел фурор, с легкостью доказал две сложнейшие теоремы. Инквизиторши сыто улыбались.

После урока они пошептались о чем-то с директором и математичкой, и на следующий день в журнале против фамилии Варенковой появились две жирные «двойки», а против фамилии Костров – очередная «пятерка с плюсом». Девчонки бросали победные взгляды на Ладу. Расстояние между небесноликой Мадонной и ими – земными, угреватými, смешными – сокращалось стремительно.

На следующем уроке математики обнаружилось, что «двойки» против фамилии Варенковой исчезли. Аккуратно подчищены бритвой. Математичка забыла внести их сразу в дневник, а когда спохватилась, оценок уже не было.

– Варенкова! – змеиным шипом провозгласила математичка. – Это твоя работа? – и потрясла журналом перед Ладой.

Та стояла ни жива, ни мертва. Запрестольный образ мерк на глазах. Обычная рыжеватая девчонка с темными глазами.

– Я еще раз повторяю, – дробили звуки сузившиеся накрашенные губы, – зачем ты это сделала? Бездарь! Хулиганка! Отвечай!

Лаврик вскинулся и побледнел. Костер Ноланца был зажжен. Какое счастье умереть за Даму! И тут...

– Это не я, Розалия Аркадьевна, – пискнула Мадонна, – это Костров.

Тишина не воцарилась. Она образовалась как вакуум и всосала в себя все внешние звуки.

– Лаврентий, – так странно прозвучало полное, полузабытое нами имя Лаврика. – Это правда? – училка смотрела поверх очков недоверчиво и растерянно. – Ты никогда не врешь. Это правда?

Лаврик втянул голову в плечи. Никогда раньше он не выглядел столь жалким. Тридцать две пары глаз устремились на него. Кумир теребил золотистую косу.

– Да, – твердо сказал он. Костер Ноланца лизнул его лицо, и оно было почти черным.

– Зачем? Ты можешь ответить: зачем?! – голос училки сорвался почти до визга.

Лаврик молчал. Розалия щедро влепила ему и Ладе еще по «двойке», и вызвала его родителей в школу.

– Тили-тили-тесто, жених и невеста! – заверещала Шепотушкина на перемене, кривляясь возле них. Лаврик молчал, Мадонна делала вид, что не слышит.

Что произошло после встречи училки с родителями, Лаврик не сказал, отделался словами «нормально» и «в порядке». Он больше не шутил и не рассказывал о Джордано Бруно. Мадонна по-прежнему была ровна и приветлива со всеми. Со своим паладином она не сочла нужным объясниться. На наши презрительные взгляды не реагировала. Но

надо отдать нам должное – мы, при всем своем юношеском максимализме, угадали, что нам лучше помолчать и не вмешиваться. Все же «*храм оставленный – всё храм. Кумир поверженный – всё бог!*». Предавшая Мадонна оставалась любимой.

Экзамены прошли успешно. Лаврик умудрился помочь Варенковой, передал через товарища листок с правильными решениями. После каникул он в класс не вернулся. Поступил в педагогическое училище в Кустанае, потом в институт. Там и остался, работал в местной школе, перевез к себе родителей, подумывал о женитьбе. Как-то в июле поехал с друзьями отдохнуть в Калининград на Пелавское озеро. И погиб, спасая тонущего. Неистовый Ноланец – разве он мог поступить по-иному? Какая разница, что поглотит тебя – огонь, вода, воздух или земля, если ты выбрал «принцип, в котором – все»?.. Ноланцу, нашему Лаврику Кострову, было неполных двадцать шесть...

Варенкова доучилась с нами до десятого класса. Лицо ее по-прежнему светилося безмятежностью Мадонны, но к шестнадцати годам многие наши девочки выровнялись и уже не уступали ей в миловидности. Энергия зависти сошла на нет, но исчезло и постоянное восхищение. Теперь вместо единственной розы-королевы была клумба, где каждый цветок был свеж и прекрасен. Родители наняли ей репетитора, он немного подтянул ее по математике, и с грехом пополам она сдала выпускные экзамены. Потом уехала с родителями в Болгарию, чему-то вроде училась, вышла замуж за местного, и след ее окончательно затерялся.

Джордано из Нолы прожил на свете пятьдесят два года. Лаврентий Костров – вполовину меньше. Отъяввший от своей жизни добрый кусок, он подарил его мне, спас не только того тонущего, но и всех нас, ибо так же бросился бы спасать и гореть за каждого.

Лаврик Костров, Профиль, Костерок, Лаврушка, Ноланец, наш маленький, бедный рыцарь... Так много, так безоглядно, так полно любивший, как тебя не хватает в нашей сумасшедшей или слишком умной жизни. Да и способна ли она породить таких, как ты?..

И, законченный атеист, я страстно молюсь, чтобы «Пречистая сердечно Заступилась за него И впустила в царство вечно Паладина своего».

Слабый человек, я хочу верить, что когда-нибудь в горних пределах я увижу его улыбку. Ибо жизнь – это долгое прощание с теми, кого помнишь и кого любишь...

Серое рассветное море

С любовью и памятью о Прибалтике

Валерий Яковлевич Марковников гордился в жизни двумя вещами. Тем, что он был однофамильцем известного химика, и парадоксальной жизненной теорией, оформленной в чужих стихах. Так, на все философские вопросы о жизни, смерти, Боге и счастье он отвечал, лукаво прищурясь: «Всё на свете шерри-бренди, ангел мой!». К женщинам относился как герой какого-то чеховского рассказа: «Ну, призвана она, положим, мужа любить, да салат резать, так на кой черт ей знания?». А в компаниях любил напевать невесть где услышанную песню:

*Есть женщины, похожие на ночь:
Загадочны, томны, темны и властны.
Они не столь прекрасны, сколь опасны.
Друзья мои, от тех бегите прочь,
Которые напоминают ночь.*

*Есть женщины, похожие на вечер:
У них в глазах штампованная грусть.
Печальны мысли их, капризны речи.
Все вздохи их я знаю наизусть
И не ищу с такой красоткой встречи.*

*Есть женщины, похожие на день:
Солдаты в юбках, трезвые, как сода.
Холодные в любое время года.
Друзья мои, похожая на день –
Она уже не женщина, а пень.*

*А есть похожие на детский смех,
На утро майское, на сны лесные,
Всегда весёлые и озорные.
Не согрешить с такою – просто грех.
Друзья мои, они милее всех...*

Песенка неизменно вызывала бурный восторг, Марковникову аплодировали и считали его умницей и сердцеедом. Это ему льстило. Вообще это был добродушный здоровяк с ярким румянцем на смугловатом лице, с прокуренными усами и детской ямочкой на подбородке. Когда-то ему сказали, что он похож на Мопассана, и изо всех сил он старался поддерживать этот образ на людях.

Жена его – милая, чуть ленивая пухленькая блондинка, на первый взгляд, и была тем утром майским из песенки, но без смеха, веселья и озорства. Супруги жили мирно, у них было два сына. Однако Валерий Яковлевич отчаянно изменял ей и с теми, кто был похож на ночь, и с теми, кто на вечер, и на день. Возвращался он из загулов всегда подтянутым, молодцеватым, и отшучивался: «Когда все время ешь бутерброды с черной икрой, то иногда хочется и с ливерной колбасой». Жена давно махнула рукой на его похождения и относилась к ним снисходительно, как к шалостям избалованного ребенка.

Марковников был стоматологом, искренне верил, что все болезни происходят от испорченных зубов, ограничивал детей в сладком и старался выполнять свою работу на совесть. Пациентов у него было предостаточно. С мужчинами он был предупредителен, с дамами – любезен, и первые, и вторые его уважали, а дамы даже восхищались, и кое-кто называл его за глаза душкой-доктором.

Было у Марковникова одно неукоснительное правило. Отдыхать хотя бы десять дней в году он предпочитал один. Это тоже входило в жизненную философию.

– Чтобы еда была не просто пищей, а райским наслаждением, нужно перед обедом хорошенько озябнуть, – говорил он. – Чтобы как следует соскучиться по родным, надо на время разлучиться с ними. Тогда все будет замечательно.

Против этой доктрины бесполезно было возражать, и жена, поворчав немного в начале брака, смирилась, и лишь беззлобно усмехалась. Впрочем, страстной любви между ними никогда не было, как и бурных ссор.

Неизменно в августе Марковников отправлял жену с детьми к ее родителям в южный город на берегу моря, а сам уезжал в Прибалтику на десять-двенадцать дней. Потом возвращался к семье и отъедался тещиными пирогами.

Марковников любил Прибалтику. За шестнадцать лет брака он был там с семьей два раза, и потом ездил сам. Маленькие и большие города были исхожены им. Сами названия – Игналина, Неринга, Пярну, Резекне, Елгава – звучали для него как далекая музыка. Ему нравилась особая северная чистота улиц и площадей, пение иволги по утрам, остроконечные крыши домов, похожие на колпаки звездочетов, холодная и спокойная красота женщин. Марковников мало верил в переселение душ, но чувствовал, что в прибалтийских городах он словно становился самим собой. Исчезало все наносное, на сердце становилось так славно, как бывает порой в ясный зимний день, когда снег тихо укрывает землю. Душа будто вставала на цыпочки, делалась строже и утонченнее. Как по волшебству, исчезали всегдашнее балагурство, придуманная жизненная философия, и хотелось думать о чем-то светлом, простом и ласковом. И верилось, что по возвращении начнется новая, лучшая жизнь, потому что к лучшему изменился он сам.

Но он возвращался, и все шло по-старому. Устоявшейся жизни не нужен был обновленный Марковников. Наоборот, привычный доктор-душка был ближе и понятнее родным и друзьям.

Чаще всего Марковников отдыхал в центре Юрмалы, в Булдури. Снимал комнату у давней своей знакомой – Анны Александровны Эглите. Пятидесятисемилетняя пенсионерка Анна Александровна была вдовой, жила вместе с дочерью в большом деревянном доме недалеко от моря и леса. С Марковниковым она свыклась, доверяла ему и почти всегда отказывала другим клиентам.

Инесе – дочь русской и латыша – была очень красива, и, глядя на нее, Марковников думал, что она не подходит ни под один из ярлыков женщин из его песенки. Впервые он увидел ее еще подростком, сейчас ей было двадцать два, она училась на художника и встречалась с парнем, которого называла почему-то «Слон», и парень этот не нравился Анне Александровне. Марковникову порой становилось скучно, когда вдова звала его в гостиную «посумерничать», как она говорила. На самом деле все ее разговоры сводились к тревоге за дочь, она ждала от Марковникова сочувствия, и даже просила его, как давнего знакомого, поговорить с Инесе и отвадить ненавистного «Слона». Но Марковников избегал вмешиваться в чужие дела.

Дом вдовы был нескладным, старым, с нежилым левым крылом. В двух комнатах жили хозяйки, оставались общая гостиная с теплой печкой-голландкой и маленькая угловая комната со сводчатым потолком и окном почти во всю стену. Эту комнату и предложили Марковникову в первый раз, и она ему понравилась. В ней всегда вкусно пахло подсыхающими яблоками и грибами: Анна Александровна развешивала на стенах связки прозрачных ломтиков. А из окна открывался чудесный вид на уголок моря и соснового леса.

Он любил смотреть в окно ранним утром, почти на рассвете, когда море было еще ровного и мягкого серого цвета, без оттенков лазури или зелени, и на его фоне ветки сосен казались бархатно-черными, словно на японских гравюрах. В августе в этих краях уже свежо, и приятно было думать, что вечером в гостиной затопят печь, и Анна Александровна угостит его рассыпчатой картошкой и лисичками, тушеными в сметане.

Как-то за ужином Марковников сказал Инесе, что она со своими серыми, мяг-

кого блеска глазами, длинными черными ресницами и пепельными волосами напоминает рассветное море. Девушка потупилась, а мать вздохнула и завела разговор о том, что красота в этой жизни еще не главное, а самое главное – вовремя сделать правильный шаг, чтобы не оступиться, чтобы потом не жалеть о содеянном и т.д и т.п.

«Зачем это все? – думал Марковников. – Сидят люди, говорят какие-то пошлые, банальные слова и не понимают, какое это счастье – так жить! Быть самим собой, вдыхать этот воздух, есть картошку с тушеными грибами, пить чай с земляничным вареньем, смотреть на серое море по утрам, а ночью ложиться на крахмальные простыни и вдыхать запах яблок и грибов. Мать боится, чтобы дочка не убежала с этим «Слоном». Так почему бы ей не поговорить с ним, не пригласить его в дом, может, он неплохой человек, и дочь будет счастлива с ним. Но мать уверена, что она права, что ей лучше знать, в чем счастье ее чада. Боже, как много в жизни неправильного, как не хочется возвращаться и снова прикидываться, лгать, быть «душкой»...

Марковников вспомнил родителей жены – робкого тщедушного тестя, которого никто в доме не слушал, и тещу – отменную хозяйку с маленькими жесткими руками и такой тяжелой челюстью, что казалось: она хочет проглотить человека. И когда она предлагала новые блюда, то у нее получался змеиный шип:

– Это вкус-с-сно! Ешь-ка, еш-ш-шь!

Он думал о том, что жена со временем будет походить на мать (она пошла в ее породу) и от этого становилось грустно, словно он обманулся.

А самое печальное, что он, Марковников, дожив до сорока четырех лет, еще никого и не любил по-настоящему. Сердце было глухо, и даже к детям он относился с чувством, в котором было больше долга, чем нежности. И где-то в глубине души радовался, что у него нет дочек, потому что девочкам нежности нужно больше. А все эти женщины, похожие на ночь, вечер, день, утро, парадоксальная философия – были побегом от самого себя.

– Устали, замучила я вас, – добродушно прерывала его размышления хозяйка. – Отдыхайте.

– Что вы?! Все хорошо! – улыбался Марковников, стряхивая с себя воспомина-

ния. Вставал он рано, шел к берегу, входил в холодную воду, поеживаясь. Море безжалостно смывало остатки сна, и, бодрый, он возвращался к завтраку, а потом шел гулять по городу и берёг аппетит до ужина. Но достопримечательности мало его привлекали, больше нравилось бродить вдоль моря, вглядываясь в очертания домов с острыми навершиями и маленькими флюгерами. Или гулять по близлежащим городкам, плавно переходящим один в другой – Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты. И, Бог его знает почему, он чувствовал неизбывную родность с этими чистыми улочками, прохладным воздухом, и неяркими цветами в палисадниках. И не хотелось возвращаться, Господи, как не хотелось...

Однажды сорвался сильный ветер, начал накрапывать дождь, и Марковников вернулся домой пораньше. Еще с улицы он услышал громкие крики и резкие голоса. Кричала Анна Александровна.

В комнате стояла бледная Инесе и высокий парень с колючими глазами и острым кадыком. «Слон», – догадался Марковников.

– Чтобы ноги твоей в моем доме не было! – кричала хозяйка. – Не получишь ее, ты слышишь! Убирайся вон! Что, думаешь, я не вижу, ты загуляешь ее и бросишь!

Насквозь тебя вижу!

– С чего вы взяли? – угрюмо огрызнулся парень. – Она не ваша собственность, сама решит.

– Мама! – пыталась урезонить девушка. – Мама, пожалуйста.

– Что?!! – не унималась мать. – Ты его выбираешь? Ой, мне плохо! Валерий Яковлевич, – кинулась она к Марковникову, – пожалуйста, прошу вас.

Марковников плохо понимал, о чем его просят, но по наитию шепнул парню:

– Уйди пока. Видишь, бушует. Обойдется все.

«Слон» громко хлопнул дверью. Где-то вдалеке залаяла собака.

Марковников вернулся в гостиную. Анна Александровна, лежала на диване и охала. Инесе не было. Очевидно, ушла в свою комнату.

– «Скорую» бы, – пробормотала хозяйка с закрытыми глазами. – Ой, не могу!

– Я все же врач, – сказал Марковников и испугался сухости своего тона. – Ничего серьезного, Анна Александровна, не тревожьтесь. У вас есть валерьянка?

– Да какая валерьянка, – поморщилась хозяйка, не открывая глаз. – Разве она поможет? Там есть валокордин, валидол... Нет, вы посмотрите только, – с живостью продолжила она, – мать тут умирает, а ей хоть бы хны! Холодная кровь! И из-за кого? Вы же его видели! Ну скажите, ведь правда, вылитый уголовник?!

– Не знаю, – сдержанно отвечал Марковников. Он измерил хозяйке давление и пульс. Тот частил, но давление было нормальным.

– Вы меня осуждаете, – вдруг плаксиво протянула Анна Александровна и села на диване. – Но поймите, поймите, он хочет уехать и ее забрать! А мне куда? Одной куковать?

– А если они любят друг друга? – пожал плечами Марковников. – Не знаю, мне трудно судить...

– Перелюбят! – с неожиданной жесткостью отрезала Анна Александровна и в это мгновение отчего-то разительно напомнила Марковникову тещу.

Ужинать расхотелось, и он ушел к себе. В комнате по-прежнему приятно тянуло яблоками и грибами, но от этого запаха у Марковникова разболелась голова. Он принял лекарство и попытался уснуть.

Ночью в дверь тихо поскреблись.

– Валерий Яковлевич, ради Бога, простите, – плачущим голосом заговорила хозяйка, – пожалуйста, пойдите к Инесе. Она заперлась, но я чувствую, что ей плохо. Вы все же врач, пожалуйста, не откажите, может, вы успокоите... Меня она видеть не хочет.

Марковников чертыхнулся про себя, но вслух сказал:

– Хорошо, сейчас приду.

Комната Инесе была на втором этаже дома, около кладовки. Подниматься туда надо было по узкой деревянной лестнице. Мать стояла внизу и напряженно вглядывалась: откроется или не откроется дверь.

– Это я, Инесе, – нерешительно пробормотал Марковников. Всегдашняя уверенность и балагурство с пациентами изменили ему. Он чувствовал себя неловко и не знал, что скажет этой высокой девушке с серыми глазами.

Дверь тихо отворилась. Глаза Инесе были заплаканы.

– Ну, не надо, не надо, – тихо сказал Марковников, проходя в комнату. – Поверьте отцу двух детей. Все будет хорошо! Если он по-настоящему любит вас, то непременно вернется. А на маму не обижайтесь, она любит и переживает за вас и

желает только добра. «Боже, какой бред я несу!» – выругал он себя мысленно.

– Закройте дверь, – тихо попросила девушка.

Марковников повиновался.

– Да, мама любит меня, и душит своей любовью, – быстро проговорила Инесе.

– Она рано овдовела и не изменила памяти отца. И всю себя посвятила мне, а теперь ей страшно остаться одной. Она хочет, чтобы я вышла замуж за кого-то, кто придет в наш дом. И чтобы мы жили вместе с нею. Но это будет плохо, это будет очень плохо! Мама думает, что сможет ужиться с любым человеком, но это ей только кажется. Она хозяйка, пусть самая замечательная, самая добрая, но она не потерпит никого другого в своем доме! И она боится, что я буду любить еще кого-то, кроме нее! – голос девушки срывался почти до яростного шепота.

– Но меня же терпит, – улыбнулся Марковников, чтобы как-то отвлечь ее. – Не надо нервничать, милая, все это уляжется. – А сам подумал: «Выходи-ка ты замуж за своего «Слона», если уж так его любишь, и не дай никому съесть свою жизнь». И вспомнил, что когда он женился, теща, как само собой разумеющееся, объявила, улыбаясь:

– Ну, молодые! Жить будем у нас!

К счастью, Марковников после института вернулся с женой в свой родной город и у тестя с тещей бывал наездами.

– Вот уже светает, Инесе, – взглянул он в окно. – Смотрите, какой чудесный вид. Только в этот час море такого нежного и спокойного цвета. Все образуется, правда, поверьте мне. Вы непременно будете радоваться, да и как такой девушке не быть счастливой и радостной?

– Позолота вся сотрется, свиная кожа остается, – промолвила девушка.

– Что? Простите, не понял.

– Так, вспомнилось... В одной сказке Андерсена были такие слова. Я иллюстрировала ее. А правда, что радость и счастье – это всего лишь увеличение каких-то гормонов в организме?

«Увы, вообще-то да. Эндорфина и серотонина», – хотел было ответить Марковников, но посмотрел на заплаканное, осунувшееся лицо и сказал серьезно и ласково:

– Инесе, вы красавица и умница. Все у вас будет хорошо. А радость и счастье вовсе не в гормонах, а в сердце, если оно открыто добру. Ну, а теперь вы умойтесь и ложитесь спать. А я пойду, успокою маму. Она тоже всю ночь не спала.

Инесе вздохнула и повернулась к окну. Из него тоже открывался вид на море, но гораздо меньше, и не было видно черных сосен.

«Фиу-лиу-ли! Фиу-лиу-ли!» – нежно засвистел кто-то.

– Это иволга проснулась, – обрадовался Марковников. – Слышите?! Славит новый день! Все будет хорошо, Инесе.

– Ну, как? – шепотом спросила Анна Александровна, когда он спустился. Щеки ее опали, и она выглядела жалко.

– Все нормально. Анна Александровна, вы отдохните тоже, и все встанет на свои места.

– Вы убедили ее, что он ей не пара? Ну вы же видели его! Где она – красавица, и он – цапля долговязая?! – Хозяйка сжала в руке салфетку, и глаза ее вновь вспыхнули.

Марковников вздохнул, неопределенно кивнул и отправился спать.

Следующие четыре дня прошли тихо. «Слон» не появлялся. Анна Александровна тревожно взглядывала на дочь, но та была вежлива и сдержанно-молчалива. Марковников в последние дни перед отъездом старался не думать ни о чем, а только вбирать в себя эти черные сосны, пение иволги, серое море и белый песок. И зябко поживаясь от утренней прохлады, он думал, что совсем скоро ему опять придется надеть на себя маску. И еще он думал, что вряд ли снова приедет в гостеприимный дом Анны Александровны...

Теща и тесть встретили подчеркнуто радушно. Жена и дети пополнели, загорели, и Марковников шутил и балагурил, раздавая родным подарки. И все радовались и по-прежнему называли его душкой. И теща вновь подвигала к нему вкусные блюда и пришепetyвала:

– Ешь-ка, еш-ш-шь! А то похудел на ч-чухонских харч-чах!

Уже зимой Марковников получил из Булдури письмо:

«Дорогой Валерий Яковлевич! Как Вы и семья? Надеюсь, что у Вас все хорошо. А вот у меня неважные новости. Инесе сбежала со «Слоном» и вышла за него замуж. Мне передали, что уже и ребенок у них намечается. Вы и не представляете, что творится у меня на душе, как мне горько и обидно. Я всю жизнь в нее вложила, надышаться на нее не могла, а она ради этого жердяя через меня переступила. Это через мать-то! А что я могла ожидать – холодная кровь, она холодной и останется! Да Бог с нею, пусть живут, как знают, а она меня так обидела, так обидела! Никогда не прощу! Я Вас прошу, не забывают обо мне, приезжайте летом, я покрашу стены в Вашей комнате, и будет совсем светло. А если хотите, можете жить в комнате Инесе, она удобная и светлая. Жду Вас летом. Приезжайте и с семьей, места хватит. Помнящая Вас Анна Александровна».

Марковников улыбнулся. Перед глазами встала сероглазая Инесе, и он подумал, что любовь и будущее материнство сделало ее еще трогательнее и прелестнее. Вспомнил вид из окна своей комнаты, запах подсыхающих яблок и грибов, ужины в гостиной у печки. В душе затеплился огонек. Потом он еще раз перечитал письмо, вздохнул, и огонек в душе погас.

В Булдури он больше не ездил...

Мольба жадной женщины

*Цветы. Вино. Затейливый кулон.
Прощаясь, возвращаться в тот же миг.
Ты думаешь, что я в тебя влюблён.
Я думаю, что я к тебе привык.*

Что, мой милый? Что, мой хороший? Как ты там? Погоди, отдышусь, сердце совсем подводит, выскочить из груди хочет, будто в горле бьется. Вспоминаешь ли меня? Ты прости, что изводила тебя вопросами: «А любишь меня? Скажи, что ты меня любишь!» Так хотелось, чтобы ты повторял это постоянно. Да разве счастье в словах?! Но я таких слов не слышала никогда, ты купал меня в них, и когда переставал вдруг говорить, я начинала волноваться. Вот и сейчас – мы уже ничего не сможем сказать друг другу, и все же повторю тебе как заклинание: «Ты меня любишь? Скажи, что ты меня любишь, родной мой!»

*Сжигая ночь, как чёрную свечу,
Встречая утра неуместный лик,
Ты думаешь, что я тебя хочу.
Я думаю, что я к тебе привык.*

Нет, я не плачу. Что каменной сделается? Разве такие, как я, плачут? Нет, мои ночи не черны, даже в черноте есть свет, а мои ночи беспросветны. Плачут, когда знают, что такое счастье и надеются его повторить, а я не надеюсь ни на что. Завтра будет новый день и утренний свет, будешь ты и буду я, но Нас в нем не будет.

*А ты, как ты: красива, неглупа.
А я, как я: из плоти, не из книг.
Ты говоришь, что ты – моя судьба.
А я молчу, что я к тебе привык.*

Да! Я хотела, я жаждала, я упивалась твоими словами, глазами, руками! Мне надо было знать, что я самая лучшая, самая красивая, самая умная, самая талантливая, нежная, добрая. Мне надо было говорить, что я королева, и что глаза мои горят как звезды. Почему ты молчал? Почему? Почему молча и мягко улыбался, вместо того, чтобы задыхаться от страсти? Почему я просила тебя об этом?.. Почему мне мало было твоей улыбки, в которой было всё?.. Я как та старуха из «Сказки о золотой рыбке», которая хотела большего и в конце концов потеряла все. Жаль старуху... Хотя почему жаль? Ведь старик ее не бросил, не предал...

*Порой взорвёшься:
– Что за ерунда?!
В глаза посмотришь, спросишь напрямик:
– Скажи, что любишь!
Говорю:
– Ну, да.
...Ну, да. Ну, да. Ведь я к тебе привык.*

Что ты опять молчишь?! Скажи что-нибудь! Поругай, закричи, взорвись! Нет! Молчишь, как всегда. Почему в глазах твоих навеки только этот печальный добрый свет? Почему мы больше не встретимся, не увидимся никогда? Ты же знаешь, что три вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово, возможность. Почему я редко говорила, что люблю тебя? Почему все время сомневалась в тебе и боялась поверить своему сердцу? Боялась насмешливого счастья, боялась спугнуть удачу. Так боялась плохого, что притянула его.

*А ты рыдаешь. И, уже кляня,
Бьёшь по лицу, срываешься на крик:
– Оставь меня!!! Или убей меня!!!
...Но почему?! Ведь я к тебе привык?*

Я не выдержу так долго! Приди, разорви расстояние и время между нами, промолви хоть слово. Или позови меня к себе. Мне так холодно. Труднее всего сказать простые слова: я люблю тебя, прости, помоги мне. Я зову тебя. Молю тебя. Почему ты молчишь? Почему ты уходишь? Разве любящий покидает любимого?

*И ты уйдёшь сама. Но не сейчас.
Лет через семьдесят. Банально: в мир иной.
Ты тихо-мирно не откроешь глаз,
Докучных застарелою мольбой.*

Значит, так?! Значит, все?! Ну, хорошо. Я уйду сама! И пусть тебе будет стыдно, гадкий седой мальчишка! Уходит его любимая женщина, а ему хоть бы хны! Кто учил меня, кто говорил: «Любовью не бросаются»? А сам уходишь, скрываешься, ложишься на дно. Захочешь вернуть – не получится! Я – гордая! Позови! Ну, по-зо-ви-и-и меня!!!

*И в тот же день, лишившись разом сил,
Вдруг упадёт безжизненно старик.
И скажут все: он так тебя любил!
Действительно. Он так к тебе привык!*

А ты вправду меня любил? Говори, говори, я не наслушаюсь!!! Мой родной, гадкий, привыкший ко мне седой мальчишка! Ты любил меня. Что же мне делать без тебя?..

P.S. В миниатюре использовано стихотворение Гуфельда Зеева «Цветы. Вино. Затейливый кулон».

Случай в загородном доме

– Нет и нет! Вы считаете, что все идет в жизни по накатанной полосе, что случайность – всего лишь звено в цепи закономерностей? Нет!!! Крошка, мелочь, абсолютно не относящиеся к делу, могут абсолютно изменить его. Помните сказку о «Репке»? Ведь сколько людей и животных тащило злосчастный корнеплод из земли, а помогла только махонькая мышка. И вовсе не о «Репке» эта сказка, а о том, что четко выстроенную систему наших действий и мыслей может разрушить совершенно неожиданная сила.

Седой человек в поношенных свитере и брюках выпалил это и откинулся на спинку стула. Глаза его широко открылись и заблестели, как у ребенка. Вообще в облике его было что-то детское. Этаким состарившийся Волька ибн Алеша из фильма о Хоттабыче. И свитер его был какой-то детский, с тремя красными пуговичками на груди.

Мы собрались в загородном доме у общего приятеля. Мы – это четверо мужчин и четыре женщины (две пары – семейные, две – в свободных отношениях), приехали отдохнуть на праздники, а заодно культурно просветиться – посетить местную обсерваторию. Приятель работал там, и ночная экскурсия с обзором звездного неба представлялась более, чем романтической.

Черта с два! Звезды, видно, потирали сияющие ладошки, сделав нам фигу! На всю праздничную неделю зарядил дождь, земля, обычно твердая, как железо, превратилась в чвакающую жижу, а небо было похоже на лохматую тряпку. Гостеприимный и добродушный толстяк-хозяин умолил нас остаться, утверждая, что «всякая

погода – благодать», и ничего не может быть лучше для легких, как насыщенный влагой деревенский воздух. В общем, длинная речь его имела смысл: «Останьтесь, я вас умоляю!», а наши робкие и нерегулярные попытки уехать в город означали: «Да фиг с тобой, все равно двигаться лень!». Супруга приятеля была отменной хозяйкой, каждый день на стол металась новые блюда, одно вкуснее другого, и по всему дому плыл аппетитный бражно-кислый запах малосольных огурцов с укропным семенем, квашеной капусты, острых баклажан, начиненных чесноком и зеленью, и всякой прочей снеди, под которую так хорошо опрокидывались рюмки, стаканчики, бокальчики с горячительным содержимым.

Но вечера после ужина надо было чем-то занять. И когда приедались телевизор и утыкание в мобильные телефоны, начинались разговоры. Большею частью вялые, ленивые, как это бывает, когда люди слишком плохо или слишком хорошо знают друг друга, и в зряшных словах нет необходимости. Каждое слово должно ложиться в душу, как отполированный бильярдный шар в лузу, или не произноситься вовсе. Но тогда наступила бы давящая, неуютная тишина, и поэтому говорили без умолку, сотрясали воздух многоречием.

Видимо, для разрядки обстановки, в один из вечеров хозяин пригласил своего соседа. Старик был любитель поболтать и, кажется, исполнял в округе роль свадебного генерала. Если надо было занять паузу, звали его. Кто он был и откуда, приятель так и не сказал нам. Единственное, что многозначительно прибавил, глядя на него: «Голова! Дай только тему, говорить будет – заслушаешься!»

Тема была подкинута. Кто-то завел разговор о фатальной предопределенности судьбы. Философские вопросы тем и хороши, что их можно трактовать, как вздумается, вытягивать из разноцветного клубка выводов новые сентенции. Если делать это с серьезным и глубокомысленным видом, все невольно проникнутся к тебе уважением.

Старик молчал, изредка покачивая головой, и оживился, когда кто-то сказал, что в жизни нет места случаю. Тогда он и произнес свою тираду и сразу же насто-рожился, почуяв спор.

И правда! Кто-то заметил сладко-вкрадчиво:

– Ну ведь мышка прибежала-то не сама! Ее позвали! Значит, она тоже была звеном в цепи действий. Да и вообще, кто-то увидит в перемене судьбы случай, а кто-то – невидимую цепь событий. Все зависит от самого человека.

Старик метнул на него растерянный взгляд и сгорбился. Повисла тишина, всем почему-то стало неловко, и только вкрадчивый усмехался. Но тут старик осторожно, словно вынимая драгоценности из сундучка, заговорил:

– Я вам расскажу одну историю. Вам она покажется нереальной, даже дикой. Но, возможно, вы правы, только нервные, впечатлительные натуры способны придать обыденному явлению особый смысл. Но этот, нелепый до абсурда случай сохранил мне семью. Сейчас мне грустно даже подумать о том, что все могло быть иначе... Говорить буду долго, как привык, вы уж простите старика.

Знакомо ли вам чувство безотчетной неутоленности? Не тоски, не тревоги, не маеты, а именно неутоленности, словно и есть все – веселись, душа! – но нет, не получается. Непостижимое это чувство нУдит и нУдит, будто внутри вас невидимый челнок снует туда и сюда, и нет вам покоя, и нет пристанища. Кто-то говорил, что вставать из-за стола надо тогда, когда чувствуешь, что съел бы еще столько же. Неутоленность душевная схожа с этим легким голодом, только она глубже и с ней не так

легко справиться...

На десятом году совместной жизни мы с женой окончательно поняли, что наш брак был ошибкой. Страсть, когда-то накрывавшая нас обоих, быстро меркла, и стало до безобразия ясно, что нас, по сути, ничего и не связывало. Как в песенке «Падают, падают листья. Ну и пусть, зато прозрачней свет». Страсть была нашими листьями, и, облетая, она оставляла за собой пустоту. Мы были достаточно молоды, мириться с таким положением дел не желали и решили разойтись. Два дипломированных гуманитария, кандидаты наук, посвятившие свою жизнь искусству – что нам стоит найти в богемной среде новую пару и быть счастливыми?..

Но в нашу жизнь, как это обычно бывает, вмешались старшие родственники с воплями: «И не стыдно вам?! Только о себе думаете! У вас сын – вот и растите его, думайте о нем». Ну, и все как водится, в том же духе. То, что ребенок жил в атмосфере нелюбви и постоянного напряжения, до них не доходило. Забота о том, кому ты дал жизнь, еще не определяет лада и мира в семье, но старшему поколению это было непонятно. Бабка моей жены вообще выражалась четко, по-военному: «Ссорьтесь, миритесь, но вместе ложитесь! Хоть боком, хоть задом, но главное – рядом». Мы выслушивали это, вежливо улыбались, поддакивали, но, оставшись наедине, понимали, что конец неминуем.

Тем не менее, наши с женой матери настояли, чтобы мы съездили куда-нибудь вдвоем. «Поезжайте для разнообразия, проветритесь, глядишь, дурь и выбьет. А за ребенком по очереди мы присмотрим».

Вообще трогательное единодушие проявляли наши маман в минуты глобальной опасности. В обычном режиме они не питали друг к другу теплых чувств, но тут взаимная перебивка косточек была отложена. На начало июня у нас намечался краткий отпуск, и мы решили съездить на неделю в Петербург, оставшийся для нас навсегда Ленинградом...В общем-то, этот город, – старик помолчал немного и продолжил тихо, – этот город – наш спаситель.

В июне в Ленинграде белые ночи. Не знаю, почему люди поэтизируют это время. Наоборот, нечто болезненное было в синем молочном тумане, разлитом в воздухе, в очертаниях зданий, движении реки. Все предметы казались влажными и неприятно липкими на ощупь. В белые ночи у меня нестерпимо болит голова, на сердце становится неуютно, и я отчасти понимаю героев Достоевского, решавшихся на преступление. Сразу по приезде я понял, что должно случиться что-то такое, что коренным образом изменит нашу жизнь и разметает нас в разные стороны. Чувство неутоленности нарастало. Жена, видимо, тоже почувствовала что-то и примолкла. Мне, словно какому-то сказочному герою, в сердце и глаз попал кусок льда, и все, что безотчетно раздражало и беспокоило до сих пор, стало раздражать еще больше. Окружающее казалось исполненным опасности.

Прилетели мы 7-го под вечер. Было свежо. Лето на Севере бодрит: это совсем не то, что наша изнуряющая южная жара. Но в нашей жаре есть что-то родное, расслабляющее; северное лето внутренне дисциплинирует. Никогда в детстве не понимал выражения «летнее пальто», для южного лета и майки много! Но, впервые побывав в Ленинграде, понял, что летнее пальто не просто красивое выражение, а насущная необходимость.

Остановились мы в небольшом отеле на улице Фурштатской. Оттуда было рукой подать до Летнего сада. Я любил бывать в нем. Более того, в каждый свой приезд в Ленинград первым делом бежал туда. В моей любви не было благоговения, на-

оборот, я относился к Летнему саду как к родному существу. И грубоватые слова Пушкина о том, что «Летний сад – мой огород. Я иду туда, вставши ото сна, в халате и туфлях», были мне милее и ближе восторженных ахов гостей Северной столицы.

Мы очень устали. Мне было жаль жену, но это было обычное человеческое сострадание. Как женщина, она давно была мне неинтересна. И в ее глазах я читал безразличие. Сына мы очень любили, но когда и где дети сохраняли семью?..

Старик облизнул губы, но от предложенного стакана воды отказался. Говорил он гладко, но очень напряженно. Мы попали под невольное обаяние его речи. Говорил как по-писаному!

– Хорошо помню, что стены комнаты были оклеены темно-синими обоями. Вдоль них были развешаны картины в белых рамах и белые светильники. Это сочетание, обычно такое торжественное и элегантное, сейчас давило. И картины все больше были мрачными – ночное море, какие-то натюрморты в темных тонах.

Уснуть не получилось. Мы проговорили всю ночь, и окончательно стало ясно, что нам не жить вместе. Жена заплакала, но слезы ее показались мне неискренними... Я молчал и смотрел на полоску света, легшую у наших ног. В ней, такой тонкой и беззащитной, было больше трогательности, чем в нас, и в одно мгновение мне стало ясно, что эта полоска, синяя комната, сизо-молочный рассвет – всего лишь рубеж, от которого печальным потоком покатилась вспять наша прошлая жизнь, наши бесхитростные радости, хвастливые победы. Все, что сияло нам некогда нежностью, приязнью, взаимным расположением – исчезло. Мы договорились сразу по приезду подать на развод и на этом прекратили разговоры. Стало немного легче, будто прокололи болезненный пузырь, и потихоньку стало спадать напряжение. Жена прикорнула на диванчике, я умылся и вышел прогуляться до завтрака.

Летний сад открывался в 10 утра. Часы показывали без четверти девять. Я шел очень медленно. Повернул с Фурштатской на улицу Пестеля и оказался в Соляном переулке. Оттуда было рукой подать до набережной Фонтанки, напротив которой был Летний сад.

Немногочисленные пешеходы поживались от утренней прохлады. Было много людей с собаками – очевидно, совершали утренний променад. Нормальное летнее петербургское утро в импрессионистском духе – подернутое сиреневой дымкой, как на картинах Моне.

Поразительное свойство Летнего сада – он, давно и хорошо знакомый, был каждый раз новым. Так же в прихотливой, но продуманной последовательности стояли античные скульптуры, и у каждой был печально-величественный вид. Сизый свет белой ночи уступил место розовому утру. Начинался новый день и хотелось верить, что он принесет добро. Я пожалел о том, что нет рядом сына. Он как раз переходил в 5-й класс и был на удивление вдумчивым и читающим ребенком. Историю Древнего мира и мифы можно было бы изучать здесь.

Больше всего мне нравились аллегорические фигуры в мраморе. «Закат», «Весна», «Зима», «Внимание», «Страдание», «Смех», «Ирония», «День», «Изобилие». В них было больше живости, чем в статуях, каждый штрих казался мне исполненным смысла, я подолгу стоял перед ними.

Сад постепенно стал наполняться гомоном. Потянулись мамы с колясками, первые стайки туристов. Возле меня уже кто-то заученно тарыхтел про универсализм мастеров Ренессанса, Готторпский глобус, гений Петра, искусную сеть фонтанов. Все это перебивалось восторженными ахами, прицокиваниями и щелчками фотокамер. Я

почувствовал раздражение. Пора было уходить.

Повернулся и... вздрогнул! Прямо на меня пристально и насмешливо глядела фигура Иронии – старик с прищуренными глазами и ехидно покривленным ртом. Я видел его много раз, но сейчас... Он сверлил мне душу. Казалось, прыгнет с поста-мента и поскачет вокруг меня, кривляясь и взвизгивая.

Нервы ли мои были на пределе, сказала ли усталость или голод, но я будто слышал тоненький, всхлипывающий от смеха голосок:

– Бесы! Бесы! Бесы! «Мчатся бесы рой за роем!» Именно!!! Рой за роем! «В бес-предельной вышине!» Да!!! «Визгом жалобным и воем надрывая сердце мне!» Да!!! Бесы! Бесы!

Я ушел стремительно, в считанные секунды пересек набережную, опростею пробежал Соляной переулок и через 10 минут был в гостинице. Жена, еще не совсем проснувшись, недоуменно воззрилась на меня.

– Проголодался, – выдавил я, – пойдем куда-нибудь, перекусим.

Она пожалала плечами, переоделась, и мы отправились в ближайшее кафе.

Мы взяли сосиски и кофе, но есть нам расхотелось. Я ковырял вилкой сосиски, жена разглядывала чашку с кофе.

– Смотри, – улыбнулась она, – у меня на чашке отколот кусочек, а у тебя на блюде.

– И что? – я посмотрел на блюде. От него действительно был отколот кусочек с зеленым листом узора.

– Ничего. У меня тоже такой же листок отколот. Странно.

– Не бери в голову чушь! – я отодвинул от себя чашку. – Не хочу! Идем от-сюда.

Мы расплатились и вышли. Начал моросить дождь. Жена угрюмо шагала рядом, было ясно, что мы никуда сегодня не пойдем. Да и надо ли?..

У меня из головы не шел старик Ирония с его бесами. Потом представил себе, как сын читает книгу, медленно переворачивая страницы.

– Надо позвонить домой, пошли на почту, – сказал я жене. Она кивнула и шмыгнула носом.

На почте было много народу, мы едва протолкнулись к кабинке. Сын кричал в трубку, просил привезти ему какие-то книги, моя матушка о чем-то солидно гудела, потом говорила жена, я смотрел на нее в профиль – длинный нос, усталое, похудевшее лицо. И в одно мгновение понял, что никуда не уйду, что весь наш ночной разговор – всего лишь бесовщина, дурь, как выражались наши матери.

Остальные дни не прошли гладко. Мы практически все время молчали или пикировались. Ночью меня мучили головные боли, жена тоже была нервна. Но это было уже неважно. Я знал, что тогда, в Летнем саду произошло то, что вновь вернуло реку нашей жизни в нормальное русло. Со скрипом, тяжело, но вернуло. Надолго ли – я не знал. Знал, что навсегда.

– Ну, как? – спросила моя мать по возвращении. – Прошла дурь? По глазам вижу, что прошла. Вам почаще вместе надо бывать, и какое-то время без ребенка, чтобы отдохнуть.

В общем, ни на какой развод мы не подали. Прожили вместе 34 года и 8 месяцев. Четырех месяцев до юбилея она не дожила. И если бы не тот случай в Летнем саду, может, и не было бы ничего...

Старик умолк. Хозяин подмигивал гостям, мол, говорил я вам – тот еще злато-

уст!

– История, конечно, занимательная, – раздался тот же подзадоривающий вкрадчивый голос. – Но вы меня не убедили. Не случай с вами произошел, а то самое звено в цепи закономерностей. Вы сами не хотели разводиться, и супруга ваша не хотела, случай вам нужен был лишь как повод, чтобы взвалить ответственность на него. Только и всего!

– Ах, не все ли равно?! – раздраженно протянула его жена. – Главное, что они вовремя остановились и были счастливы.

Старик взглянул на них и засобирался домой. Дождь и не думал прекращаться. Все молчали, и только обладатель вкрадчивого голоса иронично улыбался. Старик повернулся к нему:

– Душа у вас гладкая, – тихо сказал он.

– Не понял, – улыбка сползла с Вкрадчивого.

– Так, – старик говорил очень искренне и трогательно блестел детскими глазами. – Вот в лесу иногда попадаются деревья с совершенно гладкими стволами. Все с них соскальзывает, ничто не может зацепиться. А бывают стволы узловатые, с щербинами, занозистые. Все на них оставляет свой след, любая мелочь впечатывается, застревает. Вы как гладкоствольное дерево. Блестящее, ровное, красивое.

– Но это же хорошо? – вкрадчивый был сбит с толку.

– Конечно, – радостно ответил старик и закусил губу. – Из гладкоствольных деревьев самый лучший корабельный лес. Очень дорогой. – Он низко надвинул кепку на лоб, поднял воротник пиджака и вышел. Хозяин пошел проводить его. Где-то залаяла собака.

– Нет, ну какой-то придурковатый фрукт, – вынес вердикт Вкрадчивый. – Маразм не за горами, видно.

Его супруга рассмеялась громко, но невесело.

А еще через два дня мы веселой компанией уезжали в город и вскоре напрочь позабыли о дожде, гостеприимном хозяине и его соседе, верящем в Случай...

А совсем недавно мы узнали, что семья Вкрадчивого распалась. Жаль. Такая хорошая пара была. Наверно, вновь случай вмешался, не иначе...

Музей сердца

...и ступайте тише. Говорите вполголоса. Вы в музее человеческого сердца. Начнем осмотр? Не бойтесь, это не анатомический театр, это всего лишь путешествие внутрь души...

Вон, справа от вас, самый интересный экспонат. Красно-коричневое сердце. Видите, какое оно большое, беспокойное. Бурлит даже в колбе! Это сердце женщины, которая всем и всегда желала только добра. И делала только добро. Она была очень хорошей сестрой, женой, невесткой, матерью. Никто и никогда не мог обвинить ее в равнодушии. Когда ее брат полюбил молодую женщину с ребенком, она потеряла сон и покой, чтобы не допустить несправедливого брака. Сколько крови и сил ей это стоило, сколько нервов! Бедная женщина! Но старания ее увенчались успехом, брат ее женился на непорочной девушке с хорошим приданым, дальней родственнице. Она сама ее сосватала! Не жалела ни ног, ни языка, сколько порогов обегала, сколько увещевала, уговаривала, чтобы только отвадить брата от постыдной связи! Брат послушался. Он, правда, потом прожил не совсем счастливую жизнь, да и та молодая

женщина так и осталась обездоленной, но это мелочи. Главное, он растил своего ребенка, а не кормил чужого, и имя семьи не было замарано. А все сделала она, да и кто же еще порадеет, если не родная сестра...

А кто, как не она, выдавала замуж племянниц, женила племянников, присматривала невест и женихов детям родственников и знакомых, давала советы, кому и сколько иметь детей, что носить и куда ходить. Многие потом, правда, и на порог дома ее пускать не желали, да и многие союзы, состряпанные ею, распадались, но это мелочи.

А уж как было обидно, когда одна из подружек в сердцах выкрикнула ей:

– Сволочь ты! Что ты ко всем цепляешься, в каждой бочке затычка!

У нее аж сердце захолонуло от несправедливости!

– Да если бы не я, вы бы все здесь давно пропали! Как слепые кутята! Я же хочу, чтобы хорошо было. Меду хочу насыпать, а вы нос воротите! Да и ты... хороша! Вот где ты видела, чтобы аквариум вмуровывали в стену? У всех, как у людей, все, как полагается, а тебе аквариум в стене понадобился! Все с вывертами хотите!

– Да оставь ты людей в покое! Занимайся своим делом, своей жизнью, своими детьми. Не мешайся ты к людям, ради Бога!!!

– Но я не могу! – простодушно сказала она. – Тогда я просто умру.

И это была правда. Она действительно не могла не лезть в чужую жизнь. Такое уж было у нее большое, заботливое сердце. Не могло оно биться только для себя. Ну, а то, что есть при этом такие понятия, как такт, деликатность и внимательная осторожность, неважно... Это же мелочи...

Умерла она одна в своем доме. И до последнего дня сетовала на «гадину»-невестку, которая «отвернула» от нее ее родного мальчика. «А что я им плохого делала?! Только все хорошее! В шкафу у этой неряхи вечно беспорядок, приду-уберу. Детей черт знает чем кормит, а у меня что, сердце не болит?! Это же мои внуки, моя кровь! Так нет, ей и слова не скажи! Другая бы сказала: «Спасибо, мама, что научила, подсказала», а они – нет, все по-своему норовят сделать! И как не позвоню, чтобы прийти, они то гулять собрались, то на выставку, то на концерт. И детей с собой тащут, а маленьким много надо? Инфекции полно – они же заболеть могут, так нет же, кто маму слушает?! А этот подкаблучник только ее и слушает, конечно, кто я теперь такая?..

Впрочем, и «поганцу»-зятю доставалось от нее немало. «Дура-дочка ишачит на него, весь дом на ней, а он после работы только на диване, ни платья хорошего, ни туфель ничего нет, а она любит его, как дура. За что любить? И еще защищает, когда я ему выговариваю. Другая бы кинулась, как кошка, глаза бы ему выцарапала, сказала: «Это мама моя, как ты смеешь к ней без почтения», а она молчала! Конечно, кто я теперь такая, когда он есть?..

Бедная женщина! Нет, несправедлива жизнь! И за что только ей такая судьба, ведь она всем желала только добра. А кто обращает внимание на мелочи, когда одержим идеей добра, и чтобы все было как надо?..

Вы, я смотрю, утомились. Ну, хорошо, перейдем к другому сердцу. Нет, смотрите чуть выше. Левее. Да, вот это темно-коричневое. Нет, это не старик и не старуха. Это был человек средних лет, очень положительный, очень обходительный. И такой нежный был, чудо, а не человек. И людям помогал – выручал их деньгами в трудную минуту. Деньги правда, в рост давал, но под терпимые проценты, так что и сам Бог не обиделся бы... И во всем любил порядок. Просрочка платежа – это непо-

рядок. Приходилось принимать меры. А как иначе? Деньги счет любят. Но люди неблагодарны – проклинали его, желали болезней, смерти. Вот и делай после этого им добро. Нет, несправедлива судьба...

Вам нравится вот это, бирюзовое? Оно принадлежало очень красивой женщине, матери большого семейства. Она была сама голубиная кротость, невероятная красавица с голубыми эмалевыми глазами. Кожа у нее была такая нежная и белая, что она напоминала припудренную статуэтку. Да она и была такой. Дорогое украшение дома, она за всю жизнь не сказала никому ни одного дурного слова. Была одинаково ровна и приветлива и с друзьями своих друзей, и с их врагами. Просто удивительно, почему многие отвернулись от нее, ведь она так хотела быть хорошей для всех. Нет, неблагодарны люди, несправедлива жизнь...

Что? Оранжевое? О, это очень интересное сердце! Оно принадлежало очень религиозному человеку. Его сердце горело огнем любви к Богу. Вы бы слышали его пламенные речи, когда он обрушивался на тех, кто не исполняет религиозных обрядов, каким праведным гневом горели его глаза против тех, кто не разделял его убеждений. К сожалению, у него оказались очень неблагодарные дочери. Он хотел для них только добра, подыскивал им хорошие партии. Разве его вина, что никто не был достоин его дочерей, и они так и не вышли замуж? Он доживал свой век с ними – этот святой человек, а они – злые старые девы – поедом его ели. Не удивлюсь, если именно из-за них он отправился к праотцам раньше срока. Нет, несправедлива судьба...

Нет, это не очень интересный экспонат. Пройдемте дальше, у нас впереди масса интересного. Ну, хорошо, если вы так хотите, то пожалуйста. Крохотное серенькое сердчишко. Вот по отношению к нему, думаю, судьба не ошиблась. Это же было недоразумение, а не человек. Принадлежало оно старенькой учительнице. Была она какой-то странной. Ей, представляете, из деликатности было даже неловко жить, она постоянно просила прощения за то, что стоит в очереди впереди других людей, за то, что плохо видит и не может быстро сосчитать сдачу в магазине. Совсем серая, незаметная жизнь, и очень хорошо, что у нее не было детей – чему бы она могла их научить? Вот только совершенно непонятно, почему на ее похоронах так плакали дети, и пришла куча народу. Наверно, бывшие ее ученики. Даже голуби, которых она подкармливала, слетелись, и кошки, и собаки прибежали. Сама, бывало, могла не поужинать, а их кормила. Ну, не чудачка ли? Да, причуд у судьбы много. Эту серую никчемную мышь-старушку и сейчас вспоминают с доброй улыбкой, а тех замечательных людей никто, кроме их близких, и не помнит. Нет, все же несправедлива судьба...

Ну, продолжим... Что, уже не хотите? Устали? А жаль! Нет ничего увлекательнее путешествия по человеческим сердцам. Вы прочитайте, об этом многие уважаемые люди писали. Ну, когда надумаете прийти снова, всегда пожалуйста, будем рады. Ведь наша коллекция с каждым днем пополняется. Уж поверьте, в этом музее всегда и всем будет интересно. А самое главное, он никогда не закроется...

АЛИНА ТАЛЫБОВА

О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ



Сегодня мы с вами живем в поистине странную эпоху, когда со всех сторон на всех языках назойливо и громогласно звучат благостные призывы к гуманизму, терпимости, сочувствию к ближним и дальним и т.д. и т.п. Но парадоксальный факт: на фоне «модного» сегодня увлечения религией, постоянного увеличения числа различных миротворческих фондов

и гуманистических программ, проводимых «на тему» масштабных конференций и акций, в мире ежедневно бомбят города и страны, ставятся чудовищные биологические эксперименты, отказывают в элементарной помощи слабым и неимущим, а СМИ-империи с миллиардными бюджетами целенаправленно насаживают культ насилия – над детьми, стариками, общественным сознанием, природой, животными...

Уже неоднократно высказывалась полу-фантазийная, полу-научная теория, что на планете рядом с землянами обитают и представители враждебных им цивилизаций. С ходом времени я все больше склоняюсь к мысли об истинности такого предположения – стоит лишь оглянуться в историю человечества, чтобы убедиться в этом. О том же свидетельствует и ситуация с братьями нашими меньшими: одни представители человеческой породы спасают их, подчас рискуя собственной жизнью, идут волонтеры, лечат и выхаживают... Другие – терзают и мучают, устраивают омерзительные дельфиньи бойни или «фестивали» собачьего мяса... Одни, отказываясь порой от самого необходимого, кормят и поят, превращая в приюты для четвероногих собственные дворы и дома, судятся с насильниками... Другие без зазрения совести кладут себе в карман собранные благотворительные средства, подвергая мучительной смерти от голода и удушья ЖИВЫХ существ, запертых в тех же «собачьих ящиках»... Одни потехи ради затравливают безродную дворняжку, другие –

бросаются ее защищать, оказываясь в результате прикованными к инвалидному креслу... Кто-то подводит убедительную идеологию под абсолютно фашистское движение дог-хантеров, а кто-то рискует открыто сказать им в лицо, что они – всего лишь закомплексованные садисты и нелюди... Каждый, как известно, выбирает по себе, но на мой взгляд, отношение к животным – это еще одна лакмусовая бумажка, безошибочный тест на право называться людьми.

Отнюдь не ратую за поголовную любовь к акулам и инфузориям, принудительное вегетарианство или маразматические проявления человеческого тщеславия в виде дорогущих собачьих нарядов «от кутюр» и завещанных любимому коту миллионных состояний... Речь идет всего лишь о ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ отношении и элементарном уважении к соседям по планете, которые, кстати, прекрасно жили на этой самой планете до нашего на ней появления. «Мы в ответе за тех, кого приручили», – увы, этой прекрасной фразе, похоже, так и суждено оставаться всего лишь расхожим штампом. Но мы и вправду в вечном ответе перед теми, кого человек загнал в гетто зоопарков и резерваций, заставив работать и умирать по его соизволению, давать нам пищу и увеселять нас в цирках... Никто не спорит с необходимостью контролировать поголовье бездомных животных в городах – в той же Европе «ничейный» пес или кот проводит на улице максимум одну ночь, после чего им займутся специалисты. Круглосуточная ветеринарная помощь, государственные приюты, бесплатная стерилизация, поиск новых хозяев – кстати, очень многие европейцы берут себе питомцев именно из числа этих животных, не смущаясь их беспородностью, а иногда и инвалидностью, не превращая своих четвероногих в экспонат на ярмарке собственного тщеславия (как это, увы, происходит подчас у нас). В Турции горожане несли пледы и подстилки бродячим собакам, чтобы помочь им выжить в суровые холода минувшей зимы, а бомжи на улицах Праги в непогоду укрывают не себя, а своего четвероногого «напарника»...

Чтобы обеспечить подобное отношение к животным, явно недостаточно подписать соответствующее постановление или присоединиться к очередной конвенции – нужна «перезагрузка» (а подчас и ломка!) общественного сознания, жесткая коррекция менталитета. Малыш, который сегодня под умиленными взглядами родителей («Ребенок да!.. Пусть играет да...») пинает беременную суку, забивает камнями слепого котенка или любопытства ради отрезает лапки голубю, завтра пнёт беременную жену, надругается над ребенком, не колеблясь, устроит теракт... Потому что для него понятие СВЯЩЕННОСТИ всего живого, неприкасаемости чужой жизни так и останется пустым сотрясанием воздуха – опять же невзирая на все призывы к цивилизованности и гуманности с одной стороны и ссылки на Божьи заветы с другой.

Сегодня педагоги и психологи с сожалением вспоминают, в частности, и «живые» уголки в детсадах и школах, где дети, возясь с морскими свинками и попугайчиками, могли естественно постигать науку взаимопонимания и любви между живыми существами разных биологических видов. Счастья подобного общения сегодня лишено большинство наших детей, зажатых в тисках наполовину реальных (спасибо взрослым, изгадившим земную экологию!..), наполовину придуманных медиками аллергий, лишаящих человеческих детенышей радости склониться над раскрывшимся цветком, надкусить теплую, с дерева, инжирину, зарыться лицом в собачью шерсть... А ведь как точно сказано в замечательно мудрой книжке про Мэри Поппинс: «Ведь все – и вы в городах, и мы в джунглях – сделаны из одного и того же вещества. Из того же материала – и дерево над нами, и камень под нами; зверь, птица,

звезда – все мы одно и идем к одной цели. Помни это, дитя...» Человек становится все более и более искусственным, входя во все больший разлад и конфликт с остальными живущими на этой планете – и, как следствие, становится абсолютно не нужен той же Земле, которая, как оказалось, тоже является живым, мыслящим и чувствующим существом. В одном из рассказов великого провидца Брэдбери людям будущего под страхом смерти запрещается иметь домашних питомцев, но герой все-таки спасает щенка, мучась той самой жаждой человечности, которая оказывается сильнее всех страхов и угроз. От нас, слава Всевышнему, пока что не требуется подобных жертв, но ведь совсем нетрудно в безумную бакинскую жару поставить в собственном дворе пару мисок с водой, подбросить сухого корма... Кстати, подобные кормушки-поилки, прибитые к деревьям на уровне собачье-кошачьего роста – обычная деталь пейзажа в тех же российских городах, больших и малых, а в городских парках можно встретить, к примеру, бронзовую фигуру псины со специальным «кошельком», куда желающие бросают монетки на поддержку бездомных четвероногих и их человеческих друзей.

Кстати, доброе отношение человека к животным имеет очень глубокие корни на Востоке. Царь Соломон, как известно, выказал особую милость к лошади и собаке, сказав: «Отныне вы будете спутниками человека и первыми после него перед лицом Бога». И в самом деле, трудно представить себе человеческое бытие без этих благородных и верных помощников... А вот еще одна цитата из «Авесты», древнейшего религиозного и культурного памятника Востока: «Собака – сторож и друг, данный тебе... Она не просит у тебя ни одежды, ни обуви. Она помогает тебе ловить добычу, она караулит твое имущество, она забавляет тебя во время твоего досуга. Горе тому, кто ее обидит или пожалеет для нее пищи. Душа такого человека после смерти будет бродить вечно в уединении: никто не выйдет к ней навстречу...» И сегодня в изменившемся до неузнаваемости мире собака продолжает оставаться высшим воплощением ЧЕЛОВЕЧНОСТИ – раз и навсегда добровольно отдав свое сердце человеку, она по-прежнему охраняет, спасает, горюет и ликует вместе с нами. И, наверное, не случайно, что столько великих личностей, в том числе и писателей, воспринимали своих питомцев отнюдь не как забавную домашнюю игрушку, а как РАВНОЕ и ЛЮБИМОЕ существо. Именно поэтому их уход становится болью на всю жизнь – знаю это не понаслышке – но именно эта боль в числе прочего и позволяет нам оставаться людьми...

Перечень творческих посвящений, обессмертивших собак самых разных стран и народов, поистине бесконечен: от наскальных рисунков и древнейших баллад времен короля Артура до электронной Рэсси, от чеховской Каштанки до есенинского Джима, от джеклондоновского Белого Клыка до Белого Бима нашего пионерского детства, от рвущего сердце «блокадного» рассказа Федора Абрамова (Ф.Абрамов «Потомок Джима») до киношного Хатико... Вот и в нашей сегодняшней публикации представлены очень разные произведения очень разных авторов (в том числе и наших зарубежных друзей), но все их объединяет одно – та высокая щемящая нота любви и сострадания к тем, кто слабее, кто доверился нам. Можно еще долго рассуждать на эту неисчерпаемую тему, приводя десятки цитат великих предшественников, но думается, лучшим эпитафием к этой подборке могла бы стать чья-то полушутливая, полугрустная фраза: «Собаки – те же люди. Только лучше...» Постараемся не забывать об этом, постараемся не обманывать их доверия, которое они несут в своих благородных сердцах вот уже столько веков...

МОИСЕЙ БОРОДА

(Германия)

Моисей Борода уже не раз выступал на страницах «Литературного Азербайджана» – и как публицист (интервью «Мельницы Бога мелют медленно, но верно», №5/2015), и как прозаик (рассказ «Здравствуй и прощай», №5/2016). Выходил он к нашим читателям и с поэтической подборкой своей философской лирики. Уроженец Грузии, многие годы проработал на кафедре эстетики и искусствоведения Тбилисской консерватории. Профессор, доктор музыкалогии, член Союза Писателей и Союза Композиторов Грузии.

С 1989-го живет в Германии. Автор камерной и вокальной музыки, обладатель престижных международных музыкальных премий, признанный авторитет в области народной музыки, консультант энциклопедии MGG по Закавказью (на сегодняшний день это одна из самых авторитетных музыкальных энциклопедий мира). Три года назад был в числе почетных зарубежных гостей на юбилейном съезде Союза Композиторов Азербайджана.

Автор более 60 научных работ, нескольких сборников рассказов, стихов, публицистики, переводов. Пишет на русском, немецком и английском, занимается переводами с итальянского, грузинского и др., публикуется практически по всему миру. Член Международной Гильдии писателей, участник и организатор различных международных конференций и фестивалей.

С его подачи в международном альманахе «Путь дружбы» (2015) была опубликована большая подборка азербайджанских авторов – поэтов и прозаиков.

СЛОН И МОСЬКА



«По улицам слона водили, как видно, напоказ...» Так начинается басня про слона и собачку Моську. Моська лает на слона, слон не замечает ни её лая, ни её самой и идёт себе дальше. Заканчивается история моралью не в пользу Моськи. И всё.

Что ж, басня на то и басня, чтобы быть краткой. Жизнь для неё – обрамление её сюжета. Но начинаешь в этом обрамлении копаться – и выплывают вещи совсем с басней не сходные. Мало-помалу исчезает и ясность, да и

сам анекдот растворяется в воздухе. Так и с историей про слона и Моську...

И вот мы, зная об этой истории больше, чем повествует басня, решились поведать о ней читателю. А что героем будет простая, маленькая, ничем не выдающаяся собачонка – так что же? Разве жизнь, пусть даже и самого маленького существа – не жизнь вовсе?

I

Моська была небольшого роста собачка неопределённой породы, со светло-серой шерстью, средней длины лапами и удивительно милой мордочкой, на которой всё время играло выражение постоянной готовности к общению и беспричинного веселья.

В пору, о которой повествует басня, было ей лет что-то около полутора – самый расцвет молодости. Всё вокруг – люди, чинно идущие по улице или суетливо снующие по каким-то своим, непонятым Моське делам, время от времени проезжающие по улицам пролётки, обдававшие её крепким запахом лошадиного пота, навоза и колёсной мази – всё это возбуждало её радостное любопытство, казалось ей составной частью мира, созданного для её, Моськиного, удовольствия.

По своему душевному складу была Моська бродяжкой, хотя время от времени разные люди, видевшие её на улице, преисполнялись к ней симпатией и брали её к себе домой, так что она какое-то время жила ухоженной, размеренной и полной для неё своими радостями жизнью. Её милая улыбочивая мордочка, её доверчивый взгляд, её природная доброжелательность, способность мгновенно входить в контакт, отзываться на ласку, вся её весёлая натура – располагали к ней сразу.

Дети в тех семьях, куда она попадала, любили её необыкновенно, и она отвечала им взаимностью. Она с радостью, самозабвенно отдавалась их шалостям, неистово и весело визжа носилась с ними по двору, не обижалась, когда они, играя, таскали её за хвост или брали её за задние лапы и заставляли ходить на одних передних – да мало ли чего ещё придумывали маленькие озорники, впрочем, никогда не доставляя ей боли. Но и со взрослыми у неё обычно складывались хорошие отношения – она быстро вписывалась в уже устоявшиеся правила в семьях, где она жила.

И всё же через какое-то время мирной, упорядоченной жизни, при всех тех удобствах, которые ей эта жизнь давала, Моську постепенно охватывала скука. Даже и игры с детьми – игры, которым она так недавно самозабвенно отдавалась всем своим существом – потихоньку прискучивали ей.

Она вспоминала собачьи сходки на городском пустыре неподалёку от мусорной свалки, где, особенно в тёплое время года, можно было почти всегда найти что-нибудь съестное – сходки, куда сбегались городские бродячие собаки, чтобы обменяться впечатлениями, а бывало, и подраться друг с другом. И хотя на таких сходках маленькая Моська никогда не была ни на первых, ни на вторых, ни даже и на третьих ролях, хотя несколько раз ей приходилось стремглав убежать с таких сходок, спасая свою жизнь – когда вдруг злое возбуждение охватывало всех, каждый задирака каждого, и кончалось это жестокой кровавой дракой – всё равно ей нравился этот разноголосый гам, нравилось быть с другими собаками, такими же, как и она, бродяжками.

Правила жизни в семье вдруг начинали стеснять её, их было слишком много, следовать им было утомительно. Законы же улицы были пусть и жестоки, но просты, и на улице было интересней. И когда на Моську находило это настроение, она сбегала из приютившей её семьи – сбегала, чтобы никогда больше не вернуться. Потом её привечали другие – и всё повторялось снова.

Но все эти события не изменили ни её природного лёгкого, весёлого характера, ни её благодарности к тем, кто её когда-то приютил...

II

День, когда Моська увидела слона, врезался ей в память навсегда.

Стоял конец мая. Жестокие грозы с молниями и внезапными ударами грома, всякий раз пугавшими её до смерти, так что она готова была забиться в любую щель, втереться в землю, только бы их не слышать – грозы эти отошли, уступив место ровной тёплой погоде.

Моська, прожившая зиму и весну у приютившей её пожилой пары, выпускаемая из дома разве что в крохотный садик и за все месяцы лишь два-три раза выведенная на улицу, тосковала по свободе необыкновенно. Под конец, не выдержав, она сбегала из дома и теперь с раннего утра до позднего вечера носилась по городу как заведённая, с радостью узнавая знакомые ей запахи, отмечая незнакомые, встречаясь по ходу с другими собаками, одних обходя стороной, с другими вступая в мимолётный контакт, с любопытством приглядываясь к людям, ко всему, что вокруг неё происходило.

От неё не укрылась какая-то совершенно для неё новая атмосфера всеобщего возбуждения и ожидания, царившая в городе. То и дело натыкалась она на группы людей, что-то горячо и с видимым удовольствием обсуждавших. Охваченная любопытством, желанием как-то узнать тайну, она перебегала от одной группы людей к другой, пыталась выведать что-то от других бродячих собак, но те и сами ничего не знали.

Наконец загадка разрешилась.

Проснувшись как-то ранним утром, Моська почуяла какой-то новый, ещё вчера не присутствовавший в воздухе запах. И вдруг она вспомнила! Так пахло в цирке, куда её как-то раз взяли, когда она жила в семье с тремя милыми, очень к ней привязавшимися детьми, не желавшими куда-то без неё ходить.

И она не ошиблась – это был в самом деле цирк. Но на этот раз это был не просто цирк, а цирк с индийским слоном.

Слон – это было событие! Слон, которого ещё никто в городе живьём не видел, только на картинках! Но это было ещё не всё. Хозяева цирка обещали – и об этом было сказано в газетах – что в день представления, если не будет дождя, слона проведут по главной улице города, тянущейся чуть ли не на целый километр, и все желающие смогут на него полюбоваться.

III

В день, когда должны были провести слона, на главной городской улице уже с раннего утра стали собираться люди. Их становилось всё больше и больше, так что к обещанному часу толпа стояла густыми шпалерами по обе стороны улицы. Дети, кто смог, забрались на деревья, некоторые, особо проворные, – на крыши домов, взрослые же, пришедшие позже, а потому оказавшиеся в задних рядах, поднимались на цыпочки, чтобы хоть что-нибудь увидеть из того, что делалось впереди, и всё спрашивали передних, не ведут ли уже слона. Несколько городских следили за тем, чтобы никто из толпы не вышел на мостовую.

Моська и с ней ещё несколько собак металась взад и вперёд позади толпы, надеясь её прорвать и выбежать на проезжую часть улицы, но это было безуспешно. Их никто никуда не пускал, а одной особенно нахальной собаке, которая с громким лаем

попыталась пробить себе дорогу, достался хороший пинок, сразу отбивший у других охоту сделать то же самое.

Наконец появился слон. Впереди него шёл среднего роста светло-шоколадного цвета индус с большими чёрными, закрученными кверху усами. На голове у него была ослепительно белая чалма, в руке – трость. Следом за индусом, медленно ступая и слегка поматывая хоботом из стороны в сторону, шёл слон в красной раззолоченной попоне. Публика захлопала в ладоши, раздались свистки. Но слон, то ли уже приученный к подобным показам, то ли оттого, что, будучи цирковым слоном, привык выступать на публике, шёл спокойно, ни на кого не глядя, и только когда свистки и хлопки становились уж совсем громкими, время от времени потряхивал ушами.

Неожиданно для всех небольшая собачья ватага – как ей удалось прорваться сквозь толпу, было полной загадкой – выбежала на проезжую часть улицы и пустилась с громким лаем за слоном, а настигнув его, начала то перебегать ему дорогу чуть впереди, почти что под хоботом, то забегать далеко вперёд и потом бежать слону навстречу. Городовые забегали, стараясь отогнать собак, но не тут-то было: никому не хотелось угодить слону под ноги, а собаки, понимая это, ловко увёртывались от городовых.

Слона, как видно, раздражала эта сцена, а особенно этот хриплый разногласный лай. Он сильнее, чем прежде, поматывал хоботом и вертел головой, что было, видимо, не очень хорошим знаком, потому что индус несколько раз оборачивался к нему и что-то ему говорил.

Вдруг слону пришла мысль поймать хоботом какую-нибудь из этих маленьких тварей и швырнуть её подальше. Взгляд его упал на небольшую собачонку, которая как будто лаяла громче всех. Слон ловко поймал её хоботом, захватил и поднял хобот вверх. Собачонка от ужаса мгновенно перестала лаять, другие собаки – тоже. Стихли и хлопки и свистки – воцарилась полная тишина. Видимо, это успокоило слона, и он, вместо того чтобы отшвырнуть съёжившееся у него в хоботе как в кулаке маленькое существо, медленно загнул хобот кверху, посадил собачонку к себе на спину и пошёл дальше.

Публика завывала от восторга, собачонка же, оправившись от страха, постаралась прежде всего удержаться на спине у слона, а когда ей это удалось, залилась весёлым громким лаем. Лай этот, однако, слона не раздражал – в нём не было ничего ни угрожающего, ни злобного: это был лай от избытка радости, знак того, что вот, мол, я, тут! Мне хорошо, мне очень хорошо!

И в самом деле – собачонка, сидевшая на спине слона, была счастлива. Счастье распирало её до такой степени, что она, забыв, что только что научилась удерживаться на спине у слона, села на задние лапы и вновь залилась весёлым лаем.

Вдруг кто-то из толпы крикнул: «Да это же Моська! Моська, ну точно же Моська!» И Моська, услышав своё имя, залаяла ещё громче.

А слон всё шёл и шёл, и люди, видя сидящую на его спине Моську, свистели, хлопали в ладоши, что-то кричали. Вот слон прошёл уже главную улицу и двинулся к месту, где расположился цирк, а Моська всё сидела на его спине и громко, весело лаяла.

Видимо, слону всё же стал надоедать её лай, потому что он остановился, поднял хобот, подцепил Моську и опустил её на землю. Индус, видя, что слон спокоен, не вмешивался. Потом он повёл слона к цирковому шатру. Моська же, на которую внезапно свалился невиданный груз впечатлений, стояла как околдованная, не в

силах двинуться, и всё смотрела в ту сторону, куда ушёл слон, смотрела и тогда, когда его уже не было видно.

Потом, как бы внезапно очнувшись, она сорвалась с места и помчалась к пустырю, где к этому часу уже начинали собираться собаки – помчалась, боясь только одного: как бы не расплескать по дороге ту радость, которая распирала её, мешая даже дышать.

Действительно, она застала на пустыре несколько собак – и была впервые принята с некоторым почётом: по меньшей мере двое из собак видели, как Моська ехала на слоне.

Она тут же принялась рассказывать. Потом прибежали другие собаки, и она должна была повторить рассказ снова, потом снова и снова, и каждый раз рассказ её обрастал новыми подробностями, которых не было, но она видела, что другие верят ей, и верила себе сама...

А вечером народ валом валил в цирк. Перед цирковым шатром горели огни, играла музыка, и Моська видела издали, как люди один за другим исчезали внутри шатра. Всё вокруг дышало весельем, праздником, и Моська вдруг вспомнила, как хорошо, как весело было ей тогда в цирке, куда её взяли хозяева, как ей от избытка чувств мучительно хотелось залапать и как она всё же до конца держалась – может быть, потому, что сидела на коленях у хозяина и он время от времени гладил её по голове.

Вдруг впервые в жизни её охватило непонятное ей грустное чувство. Была ли это тоска по жизни в семье, где о ней заботились, как могли, или ей просто хотелось принять участие в недоступном для неё общем веселье – она не знала. Но её маленькое сердце разрывалось от этой тоски, и, не в силах её выдержать, она медленно, не оглядываясь, побрела от шатра прочь, стараясь не слышать доносившейся оттуда музыки.

IV

Через несколько дней цирк уехал, уехал с ним и слон. Рассказами Моськи, даже и с самыми красивыми подробностями, перестали интересоваться на собачьих сходках. Улица каждый день приносила новые события, и они были если не интереснее, то уж во всяком случае важнее старых историй. Люди на улице, к которым она в первое время подбегала, и которые, как ей казалось, уж непременно должны были видеть, как она ехала на слоне, люди, которые хлопали ей тогда в ладоши, кричали ей вслед что-то весёлое – эти самые люди не обращали на неё теперь никакого внимания, разве что кто-нибудь, видя её милую мордочку и умилившись, говорил ей на ходу что-то ласковое, но она чувствовала, что эта мимолётная ласковость не имеет к её истории никакого отношения.

Моське трудно было примириться с возвратом своего старого положения среди других собак, и ещё труднее – с тем, что ей некому было больше рассказывать свою историю. И тогда она начала рассказывать её себе самой.

Её воображение пририсовывало десятки не существовавших подробностей, она верила им, вновь и вновь переживала в этих воспоминаниях свой тогдашний восторг и была в такие минуты необыкновенно счастлива. Но шло время, и новые заботы оттеснили её историю со слонем куда-то на задний план и для неё самой; воспоминания об этой истории уже не вызывали такого удовольствия как прежде, и постепенно

поблекли и они, и сама потребность вспоминать...

V

...Шли годы. Жизнь Моськи складывалась нелегко, хорошего в ней было немного, а трудностей хоть отбавляй. Молодость быстро прошла, а с ней мало-помалу ушла и уверенность, что завтра будет уж точно лучше, чем сегодня, и что пропасть в этой жизни она не пропадёт.

Лишь раз улыбнулось ей счастье материнства – она жила тогда в доме у одинокого, уже немолодого человека, как будто хорошо к ней относившегося и любившего её за её весёлый нрав – но длилось это счастье недолго.

Она родила тогда сразу троих щенков, носила, да и рожала их тяжело, а когда чуть окрепла после родов, пришёл хозяин, отнял у неё щенков и унёс их куда-то, и она их уже никогда больше не видела.

Она глазами умоляла его не трогать щенков, плакала, а под конец даже бросалась на него с лаем, пытаясь укусить. Но ничего не помогло – он сделал своё дело, а когда она залаяла и попыталась броситься на него, избил её ремнём. Спустя короткое время, видя, что она помнит о своих щенках и уже не относится к нему как прежде, он выгнал её из дома, хотя на улице валил снег и дул ледяной ветер.

Она проболела тогда всю зиму, в конце концов так и не оправилась полностью, и после этого долго не могла заставить себя приблизиться к людям – пока её не приютила какая-то сердобольная пожилая женщина. Но и тут Моське не суждено было остаться долго: женщина вскоре умерла, и Моська вновь оказалась на улице.

В последнюю осень и особенно зиму она постоянно чувствовала себя плохо. Ей было трудно подниматься после сна. Порой сама мысль о том, что ей надо встать на ноги хотя бы для того, чтобы добыть чего-нибудь поесть, была ей неприятна, а когда она пересиливала себя и всё-таки вставала, то у неё потом долго мутилось в глазах, и нужно было напрягаться, чтобы ясно видеть предметы.

Голод – первый бич бродяжьей жизни – преследовал её постоянно, но добывать еду становилось всё труднее: запах старости, немощи и болезни, который от неё исходил, её потухшие глаза не располагали добрых людей к тому, чтобы приютить её, покормить, обогреть – или хотя бы бросить ей кусок хлеба, сыру, колбасы.

Повар из трактира, который её в былые годы подкармливал, перестал это делать и теперь, наоборот, со злобой отгонял её. Моська приписывала это своему виду – и может быть, так оно и было.

Бывали дни, когда она почти погибала от голода, но у неё не было сил на то, чтобы обегать все места в городе, где она могла надеяться добыть хоть немного еды, и уж совсем не было сил бороться за корм с другими собаками, многие из которых были сильнее, моложе и злее неё. В такие дни она ела осклизлые объедки, которые уже никто из собак не подбирал, пыталась есть какие-то ягоды с кустов, от одного вида и запаха которых её мутило – и это часто кончалось тяжёлой многодневной тошнотой.

Но иногда ей улыбалось счастье, и ей удавалось найти что-то съестное. Тогда она с жадностью набрасывалась на еду и ела, ела, ела, не в силах остановиться – и потом её мучили боли в желудке, и она ненавидела себя за свою жадность, но ночами всё равно видела во сне еду, на которую с такой жадностью набросилась, и мечтала о том, чтобы снова найти где-нибудь так много вкусной еды.

Шерсть её лезла и висела на ней клочьями, и была она уже не светлая, а грязно-

серая. Как-то раз она увидела своё отражение в большой, после дождя ещё прозрачной луже и содрогнулась от отвращения к своему жалкому виду, и потом уже обходила лужи стороной, а если это уж совсем нельзя было сделать, не смотрела в них никогда.

Она уже избегала появляться на городских улицах, всё реже видели её среди других собак. А когда она как-то раз прибрела к пустырю, куда сбегались бродячие собаки, те со злобой прогнали её, а одна, особенно злобная, её укусила, и у неё не было сил ни огрызнуться, ни ответить укусом на укус, и она убежала мелкой трусцой, а вслед ей нёсся разноголосый, хриплый, злобный лай собачьей сходки.

Она слабела с каждым днём, и так ожидаемая ею и наконец наступившая весна, когда ей уже не надо было искать, где бы спрятаться от пронизывающего до костей ночного холода, не надо было отчаянно бороться с другими собаками за тёплое место у чёрного хода трактира, кухня которого не успевала остыть за ночь – весна, приход которой в прежние годы давал ей новые силы, вливал в неё, всем прошлым бедам назло, желание жить – эта весна не принесла ей в этот раз ни радости, ни успокоения.

У неё всё чаще болела голова, мучили боли в желудке. Ей всё труднее бывало вставать по утрам. Днём на неё могла вдруг навалиться тяжёлая дремота, с которой у неё не было сил бороться. Ночью она долго не могла заснуть, а заснув, часто просыпалась от внезапно охватывающего её удушья и какого-то тёмного, непонятного ей страха.

И вот настал момент, когда Моська почувствовала, что подняться она уже не сможет.

Накануне она весь день чувствовала себя плохо. Её мучила жажда, но она не могла заставить себя встать и поискать, где бы ей можно было напиться, поискать хотя бы ближайшую лужу, хотя было их после прошедшего дождя полно, и многие из них были ещё чистыми. Несколько раз она с усилием вставала на ноги, но встав, сразу ложилась: ноги плохо держали её. В конце концов она легла и лёжа слизывала языком застывшие на прохладных травинках капельки воды. Незаметно её одолела дремота.

Она проснулась ночью от жестокой боли в желудке и ощущения холода во всём теле. Её била мелкая дрожь. Во рту стоял отвратительный мыльный привкус, как тогда, когда какой-то мальчишка из озорства подsunул ей кусок колбасы, в который вложил мыло, и она, уже три дня до того ничего не евшая и готовая потому съесть что угодно, жадно проглотила колбасу, почти не разжевав, и её потом долго тошнило. Но сейчас у неё не было сил заставить себя вытошнить, а само это уже не получалось, и она лежала в траве с высунутым языком, тяжёло дыша и стараясь выдохнуть из желудка то, что её так мучило.

Мысли её мутились, она чувствовала, что умирает. Ей захотелось завывать, завывать во весь голос, чтобы хоть кто-нибудь откликнулся на этот вой, пришёл бы и утешил её. Но вместо воя из её глотки выходил только хриплый глухой звук, едва слышный ей самой.

Невыразимая тоска охватила всё её маленькое существо, из её глаз покатились слёзы. Тоска эта была сильнее боли в желудке, сильнее холода, сильнее всех ощущений, которые она когда-либо испытывала. И тогда в памяти её сами собой – может быть, от её желания унять эту тоску, отогнать от себя ужас своей смерти – стали возникать те немногие светлые картины, которые озаряли её нелёгкую и, в общем, невесёлую жизнь.

...Вот она сидит на коленях у хозяина дома, где она почти на полгода нашла приют. Хозяин нежно гладит её по шерсти и говорит ей что-то приятное, чего она не

понимает, но самый тон нравится ей необычайно, и она тает в лучах заботы и любви.

...Вот она – уже в другом доме – играет во дворе с детьми, и дети хоть и дразнятся и временами пытаются таскать её за хвост, но делают это без злобы, просто для забавы, и она счастлива и веселится вместе с детьми. А потом они все чинно входят в дом, и дети вместе со взрослыми садятся за большой стол обедать, а ей ставят на пол полную миску вкусного супа, а потом дают большой, сочный кусок мяса на кости.

...Вот она, уже уличная собака, вдруг привлекает внимание какого-то пожилого человека, и тот манит её за собой, идёт вместе с ней к колбаснику, покупает кружок колбасы и кормит её, дружески треплет её за холку и улыбаясь...

И вдруг все эти картины разом исчезли, и Моська увидела солнечный майский день, толпу людей на улице, слона в яркой красивой попоне, человека в большой белой чалме, себя, с весёлым визгом бегущую среди других собак за слонем, увидела, почувствовала, как слон захватывает её своим хоботом, сажает к себе на спину, и она, заглывываясь от торжества, от необыкновенного счастья, сидит на спине слона сперва на четырёх лапах, а в конце концов, осмелев, садится на хвост, а слон идёт и идёт дальше...

Моська видела себя, слышала свой весёлый заливистый лай, и уже не замечала, как костенеют её лапы, мутнеет взор, как всё реже бьётся её сердце, как ей становится всё труднее и труднее дышать.

Она напрягалась изо всех сил, стараясь ещё хоть на мгновение удержать в сознании этот ослепительный солнечный день, но сознание её угасало, картина становилась темнее, а звуки – тише.

Вот уже и лай её сделался почти неслышным, вот уже слон заходит за поворот улицы, так что его уже почти не видно, вот уже и хвост его исчез за поворотом. И с последним отзвуком, с последним отблеском этого сияющего, этого волшебного дня отлетела её душа.



ОЛЬГА КАЧАНОВА (Казахстан)

Поэт, автор и исполнитель песен, член Союза писателей Казахстана, член жюри крупнейших международных фестивалей авторской песни, ведущая семинаров и мастер-классов. Творчество О. Качановой широко известно как в ближнем, так и в дальнем зарубежье, ее авторские концерты (совместно с Вадимом Козловым) проходят во многих городах по всему миру – от Чикаго до Иерусалима, от Праги до Новосибирска, от Хельсинки до Ташкента...

А в этом году О. Качанова и В. Козлов стали гостями XII Международного фестиваля авторской песни и поэзии в Баку, порадовав бакинцев и гостей фестиваля высоким профессионализмом и проникновенной интонацией своих песен – их выступление стало одним из самых ярких фестивальных впечатлений.

Автор поэтического сборника «Млечные чернила», повести «Белый таракан», многочисленных CD и DVD-альбомов и аудио-книг, а также прозаических и поэтических подборок на крупных литературных сайтах, в литературных журналах и антологиях бывшего Союза и дальнего зарубежья. Неизменно входит во все выпуски «Антологий авторской песни» (Россия). Обладатель множества престижных наград и званий, автор и ведущая передач «Театр авторской песни», «Песня, гитара и мы», «Мои поющие друзья» и многих других проектов, посвященных авторской песне. Художественный руководитель первого в Казахстане Международного фестиваля «Поющие горы», в свое время собравшего более пяти тысяч зрителей на фестивальных площадках. С 2010 года руководитель международного социо-культурного проекта «Бард-саммит», объединяющего поющих поэтов и исполнителей песен самых разных стран.

Воспоминание

...Целую жизнь назад у меня была собака. Пограничная овчарка, которая уже «отслужила». Я была маленькой, а она большущей, шерстяной и теплой. Моя первая любовь и первая большая утрата... Наша семья переезжала на новое место службы моего отца. Из Забайкалья – в Узбекистан. Целый поезд был заполнен военными с их женами, детьми, домашним скарбом. И моей собаке не нашлось там места. Ее оставили новым хозяевам, которые въезжали в наш дом. Но овчарка выбила стекла (а в доме были двойные рамы!..) и прибежала на вокзал. Поезд уже тронулся, но она увидела меня в окне. И бежала за поездом еще долго-долго...

– Господи, кому мы нужны?.. Только Тебе и собакам.

* * *

**Мир спроектирован не так,
Как мы хотели.
Я не смогу согреть собак
В своей постели.
И предложить бездомным псам,
Большим и малым,
Нырнуть хотя б на полчаса –
Под одеяло.
Нырнуть и вынырнуть весной
Не в волчьей яме,
Не в теплой будке расписной,**

Не на Майами...
Не на коротком поводке,
Не в Зазеркалье –
А в том забытом городке,
В том Забайкалье.
Там далеко, в начале дней,
Меж сосен чахлых,
Была мне всей родни родней
Моя овчарка.
Мы с ней сидели на крыльце
Как две подружки.
Я помню на ее лице
Все конопушки.
Я уезжала, лет пяти –
Уже не крошка.
Она бежала вдоль пути,
Разбив окошко
В том доме, где мы жили с ней
Весной нездешней.
Моя душа была честней –
И безутешней.
Как далеко тот путь лежит...
Уже полвека
Собака старая бежит
За человеком.
А человечек – вот он весь,
Стоит бесправно.
И не достать ни до небес,
Ни до стоп-крана.



АЛЕКСЕЙ САПРЫКИН

Бывает...

Они стали жить под одной крышей по воле случая, будучи уже в зрелом возрасте. Отношения были ровными, но оба испытывали друг к другу симпатию. Да и как может быть иначе между двумя взрослыми существами, тем более, что они старались не особо вмешиваться в дела и личное пространство друг друга. Не считая непродолжительных бесед, каждый весь день занимался своими делами. Самое главное, что их объединяло, это ежедневные утренние и вечерние прогулки в любую погоду. Именно в это время один из них «отрывался по-полной». Можно было полизать свежавывающий снег, обозначить новые участки территории, поелозить по пыльному асфальту после бани, постоять, отрешившись от всего, и подумать о чём-то очень личном. Потом вернуться домой, зайти в ванную, хоть и без особого желания, а после откусать всяких вкусных разностей. Старик занимался своими делами, а Пёс, задумчивый философ, предавался размышлениям, устроившись на ковре в позе ослика Иа из мультфильма о Винни Пухе.



«Ну, и что он сегодня разворчался? Да! Хорошо поел накануне. Да! Сделал «это» на прогулке больше, чем обычно. Да! Не хватило одного пакетика, чтобы убрать. Ну и? Сам же говорил об экологии и чистоте окружающей среды. Вот и получи, Дед! Тоже мне. Ещё неизвестно, кто из нас старше по человеческим меркам. У меня седая борода. А ты свою видел? Рыже-пегая с проседью и рыжие усы. Кошмар! Хорошо хоть ходил с ней недолго. Зрение уже не то. Да и у тебя не ахти. Вон, очки носишь. Я хотя бы не ношу их. Кончик языка торчит. Дышу я так. Нравится мне. И что? Не нравится – не смотри. Полысел местами. Да и у тебя шевелюра уже не та. И что? Не лаю я практически. И что, что собака? Нужно быть пустобрёхом? А зачем? Всё

можно и так выяснить. Чешусь. Просто чешется. А что, нельзя, что ли? На твой взгляд, может быть, и часто, а по-моему, нормально. А может быть, у меня грибок? Тьфу, тьфу, тьфу. Такой вариант вы не допускаете? Бывает... Ладно, что-то я разворчался. Прямо, как Дед».

– Гуляй, мальчик, гуляй!

«Ну да, совсем мальчик. Ещё неизвестно, кто из нас мальчик. Если бы я всё делал вовремя – у меня уже внуки были бы такого же возраста. Стоп! Что-то меня немного занесло. Хотя, с другой стороны, он прав: я мальчик – не девочка. А сейчас как поваляюсь!»

– Стив!!! Ну ты, блин, пылесос. Была чистая собака, а теперь? Ты же серый уже, а не чёрный. Неужели на асфальте валяться интереснее, чем дома на ковре? А ещё и повизгивает! Щенячий восторг!

Стив поднялся. Стал отряхиваться. Поднялось облако пыли, а уши порхали как крылья бабочки. Потом поднял голову, посмотрел серьёзными печальными глазами, как бы говоря:

«Ну, чего нервничаешь? Всё нормально. Гуляем!» – и засеменял вперёд походкой маленького пони. Отбежав вперёд, Пёс останавливался, поворачивался, и как бы спрашивал: «Ну ты идёшь?»

– Иду! Иду, – отвечал Дед, – пошли домой. Домой!

Пёс поворачивался и семенил дальше. Отбежав немного вперёд, опять останавливался и как бы опять задавал вопрос. Поднимаясь по старой узенькой улочке, он то и дело послушно реагировал на слова Деда:

– Машина, Стив, машина. Осторожно!

Пёс тут же отходил в сторону и спокойно пережидал, пока машина проедет, провожая её своим несколько флегматичным взглядом.

– Молодец, мальчик, молодец!

«Другое дело. Доброе слово и кошке приятно, не говоря уже о собаках».

Дойдя до своего переуллка, некоторое время раздумывал, идти домой или ещё погулять. Дед, как правило, не торопил его. Внимательно посмотрев на Старика, Пёс вздыхал и неторопливой трусцой отправлялся домой. Дома первым делом в ванную. А потом приём пищи. Жена Деда была отличным кулинаром, и Стив высоко оценивал все кулинарные вкусняшки. А какой кайф после прогулки на свежем воздухе и приёма пищи растянуться на коврик и отдохнуть! Сон сморил сразу, и Пёс, положив голову на лапы, буквально сразу засопел и захрапел, как маленький мужичок. Ему снилось детство: весёлая и беззаботная щенячья пора. В корзине было тепло и сухо. Мама лежала рядом, периодически вылизывая всех своих детишек. Пахло молоком и чем-то очень родным. Их было много: три сестры и ещё три брата. Весёлая семейка кокер-спаниелей. Коричневых и чёрных. Он был чёрным. Он был очень спокойным. Не скулил без причины, не боролся за еду. Ждал, потому что знал, что всё равно его накормят, и он не останется голодным. Наверное, тогда он и начал становиться философом. И вот через месяц пришли люди. Они хотели взять коричневого спаниеля. Но тут что-то ёкнуло у него в груди, и он понял – это его судьба. И пополз, не жалея сил. И пока люди выбирали себе собаку, маленький чёрный щенок подполз и положил голову на ногу молодой женщины.

– Ты знаешь, по-моему, нас уже выбрали, – обратилась она к мужу. – Похоже на то.

Женщина взяла щенка на руки и, положив на ладошку, погладила. Он как раз

уместился на ладони и буквально сразу заснул.

– Ну вот. Теперь у нас есть чёрный ушастик.

И назвали его Стив.

Пёс встрепенулся, поднял голову и прислушался. Нет. Показалось. Никто не звал. Он встал, походил кругами по сонным комнатам, повздыхал, вернулся на свой коврик и долго укладывался. Через некоторое время опять стало слышно сопение.

«Я так и не понял, это был сон или нахлынули воспоминания? Хотя какая, в принципе, разница. Лиза! Милая Лиза! Так получилось, что я, собака, больше уважаю кошек. Вот и пытаюсь с ними подружиться. Но они почему-то не понимают этого. В основном. У Деда в доме всегда жили кошки. С некоторыми удалось подружиться, с другими придерживались сдержанных дипломатических отношений. В этот раз подружился. Может быть, потому, что она сейчас одна, а может быть, просто молодая. Скорее всего, она просто домашняя и практически не контактировала с собаками. Не знаю. Во всяком случае, можем спокойно съесть всё из чужой миски. Да ещё и вылизать друг друга. Бывает. А вот с собаками как-то не сложилось. Те, что побольше, как правило, агрессивны, и мне с моим ростом не с руки выяснять с ними отношения, а маленькие почему-то меня боятся. Зато тявкают, как заводные. И это здорово действует на нервы. Единственным исключением была Лиза. В тот год весна была ранняя. Ярко светило солнышко. Запахи весны пьянили. Сквозь листья деревьев пробивались солнечные лучи, создавая золотисто-воздушный супер занавес. Несмолкающий щебет птиц создавал музыкальный фон. И как будто из воздуха появилась Лиза! Сердце затрепетало, на морде расцвела идиотская влюблённая улыбка. Глаза наши встретились, и «мы, конечно же, сразу полюбили друг друга». Спаниель и овчарка! Мы встречались каждый день утром и вечером, и я с нетерпением ждал этих встреч. Резвились как малые дети. Я преподнёс ей свои любимые игрушки: мячик и пустую пластиковую бутылку. Уж очень я люблю футбол, хотя сейчас играю в него крайне редко. Уехал на учёбу мой главный партнёр – Михоня. Он фанат Месси и Барсы. Вторым партнёром был Санька, но он уехал ещё раньше. Встречи и игры с Лизой были самыми счастливыми в моей жизни. Эх, молодость! Молодость! Казалось, что нашему счастью не будет конца. Но... Наступил день, когда Лиза не пришла. Не пришла ни завтра, ни послезавтра. Хозяйка, видя моё волнение, объясняла мне, что Лиза с хозяевами уехала в другой город. Ещё много дней я искал её. Искал везде. Искал на месте наших встреч, на площадке для игр. Каждый день прибегал к её дому и долго ждал, заглядывая через забор. Ждал, ждал, ждал...»

Стив понял, что давно уже не спит, а лежит, положив голову на лапы. И глаза почему-то были мокрыми.

«Да уж! Становлюсь сентиментальным. Стареешь, Стив, стареешь! А Старик спрашивает, чего я скулю? Тут и завывать можно».

– Стив, гулять!

«Слышу, слышу, как ты собираешься».

– Почему, когда его зовём мы, он ещё думает, идти или не идти? Я его упрашиваю, дочь чуть не силком вытаскивает, хотя у себя дома проблем не было. А ты только начинаешь собираться, как он уже выглядывает из комнаты и бежит к дверям. И просить не надо! А по утрам, если ты ещё спишь, а вам пора гулять, начинает чекаться и стучать лапой около тебя.

«Странные эти женщины. Неужели непонятно? В конце концов, мы оба мужчины. Притом почти одного возраста. Скажем так – зрелого. И вообще, у нас есть

что-то общее...Ну да ладно. Идём гулять».

Закончив променад и вкусно поужинав, Пёс улёгся на своём любимом коврикe и предался любимому занятию – воспоминаниям и размышлениям.

«Всё-таки люди действительно странные. Когда мальчишки уехали учиться, а хозяйка целыми днями пропадала на работе, стало тоскливо. Скучал я по ним. Целый день никого не видишь, ни с кем не поговоришь. Даже по хозяину скучал, которого, в общем-то, побаивался и от которого иной раз получал тапочкой по заднице, и даже очень больно. Ну да Бог с ним! Бывает. Поэтому и валялся на диване, на креслах, ободрал обивку матраца. Хоть как-то привлечь внимание. Здесь лучше. Дома всегда кто-то есть. Да и кошка тут же. А недавно с женой Деда резвились и играли, как маленькие. Я даже потявкал от кайфа. Клёво было!»

Стив встал. Побродил по комнатам. Убедился, что все спят и вернулся на свой коврик. Устроившись, он вновь предался своим размышлениям.

«Вот зима и прошла. Думаю, что холодов больше не будет. Всё-таки лучше, когда тепло. Вот и весна пришла, а там, глядишь, и до лета доживём. А там пляж! Море! Солнце! Песок!»

Это был целый ритуал. Выезд на пляж. Как только к ним приезжал Дед, они начинали усаживаться в машину. Первым в машину запрыгивал Стив. И обязательно на переднее сидение, рядом с водителем. Правда, потом приходилось уступать место Деду и всю дорогу ехать вместе с мальчишками в багажнике «комби». Зато на пляже он первым выскакивал из машины и начинал путаться у всех под ногами, призывая скорее идти к морю. Увидев море в первый раз, он несколько испугался такому количеству воды. На берег набегали небольшие ленивые волны, свежий ветерок путался в его шерсти. Стив немного обалдел от окружающего его мира. Он осторожно подошёл к воде. Набежавшая волна задела его лапы, и он в испуге отскочил. Несколько раз тьякнул на такое беспардонное море. И воодушевлённый своей смелостью вошёл в море. Первым делом сделал несколько больших глотков и был очень удивлён, что вода почему-то горько-солёная! Потом он привык и к вкусу морской воды. Нарезвившись с мальчишками в воде, он долго валялся на песке, подставляя лучам солнца то один, то другой бок. Потом дремал, повизгивая и дрыгая лапами: то ли плавал, то ли бежал по песку. Но стоило только взять мяч и начать играть в футбол – Стив был в первых рядах, мешая играть и гоняясь за игроками, невзирая на то, к какой команде принадлежит игрок. А какой аппетит на свежем воздухе! Да если ещё учесть, что это не собачья еда, а разные вкусняшки. Короче, праздник живота! Потом опять море, опять песок! Красота! А по возвращении домой – крепкий здоровый сон.

«Будильник сработал. Сейчас встанет жена Деда, а вскоре и он. Скорее бы уж! Что-то сегодня шибко гулять хочется, но придётся ещё немного подремать... Чу! Кажется, проснулся. Посмотрим.»

– Стив! Ты что подкрадываешься, как партизан? Так и до инфаркта можно довести. Дай мне хотя бы обуться.

«Бывает. А разве я мешаю? Просто хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Я ведь могу и не утерпеть. Как же тогда быть с экологией?»

– Что ты смотришь так укоризненно? Идём.

«Вот и славненько. Поехали. И ещё неизвестно, кто кого выгуливает. То ли ты меня, то ли я тебя. Ведь это тебе доктор рекомендовал побольше бывать на свежем воздухе. Возраст. Болячки. Экология... Бывает.»

– Гулять, мальчик, гулять!

ТАМИРЛАН БАДАЛОВ

(ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ)

Родился в Баку. С 1963 по 2010 жил в Москве. Работал в ряде проектных и научно-исследовательских институтов. В 1976-м защитил диссертацию в области урбанистики. В течение многих лет исполнял обязанности профессора на кафедре градостроительства в Московском Архитектурном и Инженерно-строительном институтах. С 2010-го проживает в Баку, занимается литературным творчеством – пишет повести, рассказы, стихи, публицистику, миниатюры и т.д. Даже при первом, беглом знакомстве с его творчеством нельзя не отметить неожиданность сюжетных коллизий, равнодушное отношение ко всему происходящему в сегодняшнем мире.

Беар по-нашему – Бесхвостая



Счастье – это когда выпал шанс родиться...

Из миллионов неугомонных живчиков, жаждущих застать момент овуляции, озабоченных желанием оплодотворить яйцеклетку, подавляющее большинство гибнет, так и не доплыв до своей гавани, не обретя судьбы. А твоя пара встретилась, слияние состоялось, дав тебе уникальный шанс родиться.

Образовавшийся эмбрион удобно расположился в утробе матери и, растолкав сородичей,

не мешкая, принялся день ото дня усложняться. Через три месяца, когда стало тесно и скучно, на свет появилась Беар. Случилось это в начале августа, в точном соответствии с замыслом матушки-природы. Родиться летом – уже большая удача, родившиеся зимой, как правило, не выживают.

Так счастье...или удача?.. Сходу не разобраться: а простые ответы, как обычно, слишком просты...

Это было непросто. В последние дни перед родами мать долго терзалась в поисках укромного местечка. Было жарко... Очень жарко и душно, а тут ещё накопилась усталость от разросшейся ноши, каждый шаг давался с большим трудом, но она не оставляла попыток найти ту единственную, пригодную ей обитель. Не сомневалась – обязательно найдёт. Искала упорно и настойчиво, и для этого были веские основания: она прекрасно знала причину своих метаний.

Это было её вторые роды, второе потомство... а первого, по сути, ведь и не знала. И всё по собственной глупости. Неискущённости. Но так уж случилось, не убежала, не она первая, прошедшего не вернешь. Чего уж теперь...

Однако свой горький опыт, как болезненную зарубку, запомнила на всю жизнь: первые недели – самые опасные для новорождённых; чем дальше спрятать малышей

от людских глаз, тем выше вероятность выживания.

Наконец нашла небольшой приямок у основания опоры под старым мостом. Место показалось ей наиболее удобным и безопасным из того, что успела приглядеть. Автомобилей, вроде, и здесь хватало, а где их теперь нет, но в целом место тихое, безлюдное. Ещё раз огляделась, убедилась в правильности принятого решения, с облегчением перевела дыхание.

Решила вздремнуть. Долго выбирала удобную позу, чтобы хоть как-то ослабить спинную усталость от вздувшегося живота. Наконец нашла, свернулась калачиком, расслабилась... На несколько минут даже уснула, забыв об изнурительной ноше, но внезапно проснулась от колющих толчков внутри. Думала, вот-вот пройдёт, но боль не утихала, не позволяя заснуть. Попыталась поменять позу, ничего не получилось. Через некоторое время острота всё-таки убавилась, и странный, сумбурный сон одолел её. Он был тревожный и неправдоподобный: снились какие-то двуногие существа с рогами вместо голов, с длинными волосатыми лапами, согнутыми в локтях, с размытыми очертаниями зловещих теней. Они гнались за ней, орали по-человечьи, размахивали огромными сучковатыми дубинками, пытаясь настичь. Лупили во всю мощь по её тени. Было очень страшно, но не больно.

В последнее время других снов она и не видела.

Испуг разбудил её; с облегчением обнаружила, что это только сон, вокруг никого, можно было не беспокоиться. В этой облюбованной на время нише-лакуне, возникшей вокруг частично разбитой бетонной опоры, среди неведомо откуда взявшихся грязных тряпок, сухих листьев, занесённых сюда ветром, и чудом проросшей, давно пожелтевшей травы, провела она последние сутки перед родами. Практически безвылазно. Там перенесла мучительные схватки, там же и разродилась.

Их было четверо – два мальчика и две девочки, беспомощных и очень милых. Мать одинаково любила всех, но каждого по-своему. Бережно подставляла набухшие соски к губам подслеповатых щенят, да они и сами легко находили пахнущие молоком сосочки. Её же забота заключалась в том, чтобы всем доставалось. Отдельное правило, закодированное в материнском подсознании – забота о гигиене младенцев: она тщательно вылизывала каждого, избавляя от остатков мочи и кала.

Щенята растут очень быстро. Недели через две они стали смутно видеть и реагировать на посторонние звуки. Их движения приобрели осмысленные очертания, хотя передвигались ползком, словно черепашки, ножки пока ещё ненадёжно удерживали тело. Ещё через пару недель – стали проявлять интерес к окружению, расползаться в разные стороны. Бдительной матери часто приходилось тащить их обратно, аккуратно схватив за холку.

На первых порах это было довольно просто, площадь была невелика, вернуть их в родное пристанище не представляло труда, но с каждым днём зона интересов разрасталась, увеличивая тревогу матери. Дело не в том, что окрепшие щенята теперь уже разбегались всё дальше и дальше. Если бы только это... Хуже другое: они шумно резвились, рычали, визжали, кусались, не заботясь об осторожности. Мать отчётливо понимала – игры эти небезопасны, они могут привлечь внимание посторонних, испугать непосвящённых в щенячьи игры, спровоцировать внешнюю агрессию. Но как воспрепятствовать врождённым инстинктам, заложенным самой природой, она не знала. Если бы и знала, не стала препятствовать. Глядя на них, с лёгкой грустью вспоминала своё безмятежное полузабытое детство. Пробудилось щемящее ощущение прежней жизни, проявилась затаённая в душе картина юности. То была

самая лучшая пора в её жизни.

А сейчас она с умилением наблюдала, как резвы её щенята, как дерзки и беззаботны их игры. Особенно неугомонна была Беаг, тогда ещё совсем даже не Беаг, а пряткая шаловливая глупышка с пышным хвостом, которой всё было нипочём. Она дразнила и гоняла всех, но чаще других – четвёртого, безымянного мальчишку, последнего в помёте, самого худенького. А он, ловкий и смышлёный, не имея сил напрямую противостоять, отбежит на некоторое расстояние, потом вдруг внезапно развернётся, перевернётся на спину и давай кусаться. Визг стоял невероятный.

Шёл третий месяц жизни щенят. Беаг перестала сосать материнскую грудь (молока уже не было) и вынуждена была искать себе пропитание. Это было нелегко. Мать показала несколько значных мест, где можно было чуть разговесться, но не всё так просто... Мусорные баки очень высоки, в них не запрыгнешь, а в лежащих рядом пластиковых мешках не всегда находилось что-либо съестное. А тут ещё сварливые дворники, худшее сословие людей, с которыми лучше не встречаться: колючими своими вениками так уметут, потом несколько дней будешь помнить и отходить от саднящих порезов. Да и жители окрестных домов ничуть не лучше – постоянно недовольны: орут, обзываются, как будто эта территория принадлежит только им. Огрызнёшься в ответ – ещё хуже: запустят чем-нибудь тяжёлым. Попробуй, увернись...

И всё-таки при некоторой смекалке и сноровке в городе прокормиться можно, хотя порой, что уж греха таить, случается и недоедать. Необходимо проявлять постоянную сосредоточенность и бдительность: всё время присматриваться, принимать, быть готовым к поиску. Всегда... в любое время дня и ночи, независимо от погоды и настроения мчаться при малейшем признаке опасности, не жалея своих ног, когда надо – не жалея клыков, с риском для жизни. А что?.. Так все живут – не мы первые и не мы последние. Обидно, конечно, когда вылазка оканчивается неудачей, и зря потрачены силы, но что поделаешь, не сегодня, так завтра, а не завтра, так послезавтра. Уж как сложится: брюзжанием не согреешься и брюхо не наполнишь.

Первый в жизни серьёзный конфликт Беаг вспоминала так...

Однажды, это было вечером, уже смеркалось, мы лежали в своём закуточке, сонные, размякшие после изнурительного дня, когда разнёсся слух: у наших мусорных контейнеров появились чужаки. Это было не по правилам, так не положено. Зов был немедленно принят: бросились защищать зону, принадлежащую нам по наследству. Завязалась небольшая потасовка, которая не обошлось без травм, но правда была на нашей стороне, а ярости и отчаяния нам хватало, чтобы защитить своё право. Это было наше боевое крещение...

Всё бы ничего, но в ход борьбы вмешались какие-то посторонние люди. Нет бы им разобраться – кто прав, кто виноват в этой сваре. Рассудить по справедливости. Куда там – они считают себя самыми умными на земле, венцом творения, вершителями судеб. Короче, всем досталось – и правым, и виноватым, но свою территорию мы все же отстояли...

Происшествие запомнилось не только Беаг. У кого-то из братьев возникла заманчивая идея: а что, если и нам дерзнуть... в смысле, попробовать пожить на чужой территории. Идея понравилась всем и сразу: в ней было поровну и дерзости, и романтизма. Есть хотелось всё чаще и больше, а недоед всегда сопровождал их немудреное бытие. Вопрос заключался лишь в том, куда лучше направиться и когда.

Первенец, самый большой и самый умный брат, сказал, что знает хорошее место: оно совсем недалеко – был там недавно и поживился разнообразными вкус-

няшками. Мнение старшего не принято обсуждать: сказал, значит, так оно и есть.

К тому же, у всех было желание поскорее повзрослеть и показать себя в настоящем деле. Загадочное место, в котором было сосредоточено много пахучих яств, наверняка было облюбовано и прихвачено их тамошними дворовыми собратьями, но если притаиться и терпеливо ждать, то можно дожидаться момента, когда вокруг никого не будет.

Уже на следующий день вся семейка была в полной походной готовности. Двинулись по одному, врассыпную, чтобы не привлекать излишнего внимания. Перемещались короткими перебежками. В этом деле важно внимательно следить за старшим, чтобы действовать в точном соответствии с его негласными командами: в нужный момент ускориться или, наоборот, остановиться, а то и вовсе залечь, но никакой отсебятины. Субординация – правило обязательное.

В какой-то момент старший наострил уши, замедлился: всё осторожнее каждый шаг, словно по минному полю. Занесет переднюю лапу и не решается опустить, пока не удостоверится в оправданности шага. Наконец, замер, разглядывая место будущего сражения или, может быть, посвящения. Так вот, потоптался кормчий в нерешительности, раздумывая, как быть: продвинуться ещё поближе к цели или остановиться. Принял решение залечь.

Однако вскоре ему показалось, что расстояние всё-таки далековато: осторожно, на полусогнутых, продвинулся вперёд и опять залёг. Остальные, как замороженные, послушно повторяли за ним каждый маневр.

В этой позиции, не смея нарушать старшинства, находилась семейка довольно долго. Тянуло ко сну, веки непроизвольно смыкались, но это – недопустимая роскошь на охоте. Приходилось терпеть, с трудом преодолевая зевоту. Уже начинало смеркаться, когда старший наконец подал долгожданный сигнал к атаке, и они ринулись навстречу счастью. Мешкать нельзя, на всю процедуру отводится всего несколько минут, а потом – надо делать ноги.

Операция подходила к концу, когда нагрянули местные. Их было много: завязалась шумная скандальная драчка. Для пришлых – скорее имитация, чем реальное сопротивление: одна видимость, чтобы поддержать боевую форму. Они, конечно, оцетинившись, дружно огрызались, чтобы не отступать сразу, признав свою вину, но долгая свара не намечалась. По велению старшего сначала чуть отступили, а затем, когда наступила пора, по его же команде дали дёру. Мудрые предки в своё время утверждали – волка ноги кормят.

Уже у себя, в своём родном логове-пристанище, зализывая раны, заметили отсутствие сестрицы, девчушки-красавицы, самой ласковой и самой покладистой в семействе. Думали, вот-вот придёт. Мало ли, где задержалась, всяко в этой жизни бывает... а её всё нет и нет. Стало уже темнеть, а затем резко, как это бывает на юге, сплошная темень накрыла территорию. Чернь глаза выедала, а её всё не было. Прождали ночь, надеясь, может, загуляла или заблудилась, утром приволочится и повинится. Но утром она не появилась. Не появилась и в полдень.

Больше её не видели. Куда она запропастилась, что с ней случилось, жива ли, так и не узнали.

Беда не приходит одна. Чёрная полоса разрослась: через несколько дней с вечерней своей охоты не вернулся старший – вожак и вдохновитель всех приключений. С ним было надёжно, как за каменной стеной, он был главный выдумщик и безусловный лидер. А без него – зияющая дыра, сквозная пробоина, а за ней не-

известность. Надо было учиться жить по-новому, привыкать к самостоятельности.

Остались они вдвоём. Bear безумно любила братика, опекала, оберегала, как ребёнка, представляя своё материнство. Безымянный был не просто братом, был частью её самой. Частицей родного дыхания, сердца, бьющегося в унисон. Создавалось полное впечатление: они – двуединый организм, слаженный, противостоящий остальному немилосердному миру.

То утро изначально было недобрим. Они давно уже толком ничего не ели и готовы были на многие риски ради пищи. Поднялись досветла. Обшарили округу, все известные точки, ничего путного не нашли. Обошли ещё несколько дворов и пустырей, но всё безрезультатно. Уже солнце взошло, а во рту – ни макового зернышка. Вспомнили про мусорку в соседнем квартале, недалеко от детской площадки. Место не очень приятное, слишком людно, но что делать, есть-то хочется. И действительно, подоспели вовремя, набрали на кучу свежих, только что выброшенных пакетов. Умело и быстро стали раздирать податливый полиэтилен, пока в одном из них не обнаружили кладёз – ароматные, пахнущие свежим варевом кости с остатками хрящей.

Ели торопливо и жадно: увлечённо, с упоением, с хрустом и вкусом. Это был обильный, роскошный, урчащий пир двух изголодавшихся тел. Но бдительность не теряли, временами озирались, чтобы при случае защитить свой пикник от незваных гостей.

Зрелище было впечатляющее и интригующее. Естественно, оно привлекло внимание ребят с расположенной рядом площадки; облепив ограждающую сетку, они живо обсуждали чавканье собак. Один из них, самый смелый и любопытный, вихрастый веснушчатый отрок лет тринадцати-четырнадцати, решил поближе разглядеть собачью трапезу, на всякий случай вооружившись палкой.

Это как-то сразу не понравилось младшему; глядя исподлобья, он недоверчиво заурчал, надеясь, что этого достаточно. На вихрастого не подействовало, он продолжал приближаться. Наш безымянный ещё раз повторил угрозу; это был ещё не лай, но уже и не урчание. Однако и это предупреждение не возымело действия, веснушчатый продолжил движение, теперь уже недвусмысленно выставив перед собой палку.

Это был вызов, он явно намеревался отнять доставшуюся с огромным трудом еду. Еду вожделенную, добытую после долгого поиска в течение нескольких дней.

А тут на тебе... Явился... Поделись за так...

Нервы у малыша не выдержали, желая отогнать наглеца, он рывком бросился на вихрастого. Мальчишка не в шутку испугался и с криком побежал прочь. Тут бы нашему охолонуться, прийти в себя и вернуться обратно, но сработал инстинкт преследования, и он погнался за убегающим.

Внезапно, откуда не возьмись, как из-под земли навстречу бегущим выскочил здоровенный детина с булыжником в руке. Он мчался, матерился, орал что-то угрожающе, намерения его были совершенно очевидны. Не добежав нескольких метров, двуногий боров, не раздумывая, со всего маху метнул камень в щенка.

Камень попал точно в голову, размозжив череп... Смерть наступила мгновенно, а через несколько секунд из месива стало медленно расползаться большое кровавое пятно с густой серой жижей.

Эта чудовищная сцена происходила на глазах у ошалевшей Bear. Заторможенность длилась всего несколько секунд... Ярость мгновенно залила мозг, от прилива

крови глаза её вздулись, пожелтели и выскочили из своих орбит. Рассудок покинул её...

Она летела на огромной скорости туда, где стояло Большое Зло, в надежде уничтожить его. Только смерть могла остановить её решимость.

Лишь несколько метров и секунд отделяли её от жирной задницы. Дикий вопль, перемешанный с бранью, разнёсся по всему двору, и это было только начало мести.

– Ах ты, сука поганая, – орал от боли бравый детина, – я тебе, бл..., сейчас покажу, как кусаться...

Схватив подвернувшуюся под руку палку, он метнул её в сторону Bear. Она успела пригнать голову, и древко, задев вздыбленную шерсть на загривке, буквально скосило её. Это ничуть не смутило уже невменяемую Bear, отскочив на пару метров, она с новой силой бросилась на убийцу.

И на этот раз опять удачно... она впилась в другую ягодицу. И тут же, следом – в бедро, в ахилл... и ещё раз в бедро... Норовила добраться до горла, но пока не получалось.

Детина валялся в пыли и ревел то ли от боли, то ли от отчаяния. Представился шанс впиться в горло, и она попыталась...

Когда до горла оставалось совсем чуть-чуть, вдруг почувствовала: хвост за что-то зацепился. А затем уже с ужасом сообразила, что хвост находился в цепких, как капкан, руках детины.

Это конец, промелькнуло в голове...

Так бесславно завершить жизнь она не могла, просто не имела права... Рванулась, что было сил... даже сверх того, и внезапно почувствовала: произошло что-то непоправимое... Освобождение сопровождала адская, чудовищная боль. Превозмочь её невозможно, надо было бежать, спастись.

Она летела со всех ног, что было мочи – не задумываясь, не оглядываясь, гонимая болью и страхом, оставляя после себя длинный кровавый след. Бежала долго, не соображая, куда и зачем, но бежала, бежала, пока не захлебнулась, и... пустота заволочла пространство.

Всё кончилось... видимо, умерла...

...Ослепительно яркие, острые лучи, бьющие из множества солнц, пробивались сквозь закрытые веки и ресницы, но не было ни сил, ни малейшего желания открыть их. Вообще никаких желаний. Не было ничего... Ничего, кроме далёких умиротворённых, обволакивающих звуков из того мира.

– Bear, sweetie, wake up. Everything will be alright.

– Honey, please, don't die.

Слова были незнакомые, на непонятном языке, но было в них что-то трогательно обнажённое, обескураживающее. Интонацию почувствовала сразу, без осмысления, своим природным чутьём – это был голос добрых намерений.

Она силилась открыть глаза – не получилось, недоставало сил...

P.S. Мы познакомились в весенний солнечный день. Bear беззаботно бегала с подружками по бульвару (Ağ Şəhər Bulvarı). Мою попытку приблизиться восприняла без особого энтузиазма: глянула настороженно и отбежала. Живёт она неподалёку, в роскошном жилом комплексе Park Vaku, со сводным братиком, английским спрингер-спаниелем. Скоро улетит на свою новую родину, которую ещё не видела.

Счастье – это когда есть мама, пусть даже двуногая.

ЯН БРУШТЕЙН (Россия)

Ян БРУШТЕЙН – одна из наиболее заметных фигур в современной русскоязычной литературе. Родился в 1947 году в Ленинграде, юность провел в курортном Пятигорске, ныне живет в Иваново. Учился в МГУ на филологическом факультете, факультете журналистики и на искусствоведческом отделении истфака. Экстерном окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Кандидат искусствоведения. Работал в газетах, на телевидении, преподавал в вузах историю и теорию искусств, руководил двумя независимыми телеканалами, крупным региональным медиа-холдингом. Его статьи печатались в журналах «Театр», «Театральная жизнь», в газетах «Культура», «Известия» и многих других. Несколько ранних поэтических публикаций в «толстых» литературных журналах были отмечены «Литературной газетой». Но поэма, вышедшая в это же время в журнале «Волга», была уничтожена «за формализм» не где-нибудь, а в самой газете «Правда», в результате чего автор на четверть века был выброшен из литературной жизни, практически перестав писать.

Снова начал сочинять в 2008-м, печатается с 2010 года. Стихотворения и рассказы выходили во многих изданиях России, Бельгии, США, Израиля – всего более 60 публикаций.

Лунная дорога

1

**В этой неприкаянной стране,
Под насквозь сырыми небесами,
По ночам приходит пёс ко мне –
Тихий мальчик с грустными глазами.
Я его от смерти не сберег –
Как по сердцу тяжкие колеса.
Полюби его, собачий бог,
Осуши его щенячьи слезы.
Пусть в твоих лугах играет он,
Юный бег его да будет вечен...
Только иногда в мой горький сон
Отпусти его для краткой встречи.
И тогда в тревожном рваном сне
Мертвый пёс заплачет обо мне.**

2

**Идет зеленая волна
В мои глаза – до края.
И что-то наподобье сна
Меня в себя вбирает.
Земля уходит из-под ног,
Я становлюсь все меньше.
И говорит: «Привет, сынок»
Отец, давно умерший.
И, словно детский петушок,
Во рту секунды тают,
И так без боли хорошо,**

Как вовсе не бывает.
Но удержаться я не смог –
Лицо собака лижет,
И возвращения порог
Становится все ближе.
Я принимаю эту боль –
Пусть ноет звуком альта...
Не беспокойся. Я с тобой.
Давай вставать с асфальта.

3

Когда я по лунной дороге уйду,
Оставляю и боль, и любовь, и тревогу,
По лунной дороге, к незримому Богу
Искать себе место в беспечном саду,
По лунной, по млечной...
И лёгок мой шаг,
Пустынна душа, этим светом омыта,
По лунной дороге, вовеки открытой,
Легко, беспечально, уже не спеша,
Уже не дыша...
И мой голос затих.
Два пса мне навстречу дорогой остывшей,
И юный – погибший,
И старый – поживший,
И белый, и рыжий. Два счастья моих.
И раны затянутся в сердце моем,
Мы вместе на лунной дороге растаем –
Прерывистым эхом, залиvistым лаем.
И всё. Мы за краем. За краем. Втроем.



МАРАТ ШАФИЕВ

Размышления о поэме Физули, или Восхождение по ступеням безумства

Зачин

Поэму Физули в своём переводе на русский язык Сиявуш Мамедзаде подарил мне 23 июля 2017 года. За бутылкой полусухого 82-летний одинокий Сиявуш сказал: «Двадцатый век подарил мне хорошее время. Всё лучшее осталось там».

Каково же было моё изумление, когда я принялся за зачин «Лейли и Меджнуна»: *«Дай вина мне, любезность свою покажи, Дух печальный взбодри, отогрей, освежи... Сопечальника, друга, наперсника нет. Все предтечи родные покинули свет, Все мои дорожные устады ушли, И из храма благие уставы ушли»*. Где средневековый Физули и где поэт, живущий сегодня в девятиэтажной высотке на проспекте Свободы? Неужели, действительно, времени нет, и человек лишь потерянно кружит вокруг раз и навсегда проявленной Реальности?

А поэты бродят кругами вокруг нескольких мировых сюжетов. Что заставило Физули вступить в соревнование с непревзойдённым Низами? Конечно, это первый опыт перенесения легенды из аджема (персоязычного мира) на язык торку – древнеазербайджанский (ещё не очищенный, пестрящий фарсизмами). Но ещё и новый усложнившийся век пером Физули трансформирует под свои запросы достоверную, телесную легенду в нечто мистическое.

И что заставляет Сиявуша состязаться с близким по оригиналу переводом 1958 года Анатолия Старостина, известного востоковеда и полиглота? Каждое переписывание старинного документа – это его реанимация, придание ему статуса «вечного». Дело не в том, что больше соответствует неторопливой интонации восточного эпоса – амфибрахий с анапестом или пятистопный ямб. Переводческое мастерство в своей эволюции приходит к пастернаковской мысли: не кропотливое воспроизведение кладки, а передача духа и магии Слова, поэзию надо переводить поэзией.

Впрочем, мой текст не профессиональный разбор полётов, оставим кесарево – филологам, которые знают больше. Но завершивший свой труд в конце 2011 года Сиявуш передал его с надеждой нескольким уважаемым литераторам и не дождался ничьей рецензии. Мои размышления – и есть подбадривающее эхо на глас вопиющего в пустыне. Что лучше, чем ничего.

Краткие уточнения от Сиявуша

Работа над Физули началась в феврале 2010 года. Я потерял жену, сам лежал в больнице. Трагический фон жизни наложился на трагическую поэму... *«Какая разруха в душе от ненастных времён, погляди, Хвала, что молчать я не стал, хоть сегодня стихи не в чести!»* – даже и не вспомнить: строки это Физули или моя «отсебятина»?

Каким русским языком должен заговорить Физули? Я выбрал не Феофана Прокоповича, не Тредиаковского, не Ломоносова, а Пушкина, более понятного современному

читателю. Но иногда деликатно архаизировал речь (например, «счастье» вместо «счастье», «уединенный» вместо «уединённого»), чтобы придать ей пыль времени.

Погружение в поэму

Долго выпрашиваемый у Аллаха родившийся младенец плачет не умолкая. Ни мать, ни кормилица не могут его унять, и лишь на руках некоей красавицы *«улыбка на личике вдруг расцвела»* – *«то любовь прорастала в глущи существа»*. Как это возможно? Что может знать неразумное дитя о земной юдоли, где «невзгод и тягот неупрочен»? *«Только, небо, молю я тебя об одном... Так даруй мне хмельное, чтоб впал в забытье, чтоб вершил отрешённо своё бытие»* – тяготы бытия позволяют вынести своё призвание: ремесло, поэзия, а кому-то – Любовь. Не та любовь, на которую способны миллионы людей, а та единственная среди миллионов, которая обычного мальчика Гейса, встретившего красавицу Лейли, превращает в Меджнуну (одержимого). *«Только видеть одним посвящённым дано, Что в магии этой таится зерно»*, – явившемуся в этот мир, пока он не исполнит предначертанного, путь назад заказан.

К Истине ведёт множество путей, любовь – путь самый кратчайший. Но у Любви столько же ликов, сколько возможностей у неограниченного мира. Несчастливая любовь столь же плодотворна, что и счастливая. И «несчастливая» – лишь избранным, на кого Бог может положиться. И можем ли мы быть уверенными, что безумство не есть нормальность для другого мира?

Молодые влюбились, одна сторона отказала в сватовстве – какая банальная история! Тем более, не всё потеряно – Меджнуну надо просто из пустыни немыслимого одиночества вернуться в дом, жить по рациональному уставу. Поклонившийся Каабе, почти готовый к смирению Меджнун зрит иные, не доступные толпе знаки. Чёрный камень потому и чёрен, что обуглен страстью – *«ужели и ты бессловесный страдалец»?*

Удел ашига – умереть во имя Любви, придать Любви ту силу и славу, которая и станет ориентиром для жаждущих совершенства. Совершенство не предполагает конца; вставший на Путь никогда не достигнет цели. Но на этом Пути цель сама настигает его.

Второе погружение в поэму

То, что вновь удалившийся в пустынь Меджнун понимает язык тварей и природных стихий – одно из доказательств его духовного напряжения. Сострадав и освободив из тенет и газель, и голубицу, человек печали одну беду («такая беда не отбедовать») во круг себя и видит, и не ищет другого «гибельного счастья».

«И не было ему на свете дела Ни до чего – до собственного тела, Тепла и холода, крова и покрова, Родимой матери, отца родного, Ни до чего на этой брэнной тверди, Одна душа и ожиданье смерти», – любовь и есть сознательное убиение собственного эго. Подвиг мотылька, познавшего мгновенный восторг исчезновенья, прославлен всесветно, но что он знает о страдании, где *«я гору горя обречён влачить»?* Страдальцы любви, может, здесь выкупают будущий покой; и чем больше их страдание, тем выше слава в новом перевоплощении.

И когда «воитель достославный» Нофэл предлагает печальнику своё заступничество: *«Всё сбудется, нет целей недоступных! Коль дело в мере серебра и злата, Отвалим и доставим сколько надо, А если сила властвует любовью, Не станет дело – завоюем кровью!»*, то Меджнун предсказуемо отказывается: *«Но счастье не купить и не продать»*, и в начавшейся битве *«заступникам своим без сожаленья Желал он откровенно поразенья»*.

Непобедимый Нофэл сравнивает Меджнуна с сахиб-назаром – ведуном, чьи молитвы не проходят даром, который состоит с небесами в особых отношениях – и говорит склонившему перед ним голову отцу Лейли: *«Увы, его напасть неизлечима. Удел его – пожизненная схима. За кровь казнюсь. Я не добился блага. Молю за грех прощенья у Аллаха!»*

Добровольно надевший вериги рабства Меджнун убеждает себя, что это верный способ приблизиться к дому Лейли, но в метафизическом плане – это очередная попытка предельного самоуничужения. Даже взглянуть на Лейли одним глазком – незаслуженная удача, и Меджнун притворяется слепцом. Объяснение звучит так: *«О свет очей, виденье грёз моих! Глаза мои повязаны не зря, Иначе схлынут слёзные моря». «Мои глаза подслудны»* тем, что, *«тобой любясь восхищённым взором»*, дали повод бесчестить Лейли злым языкам; глаза – тоже искажение, отныне любимая запечатлена в сердце Меджнуна, и в сердце наконец-то достигнуто полное единение. Отныне отполированное слезами сердце стало зеркалом, в котором сама Любовь наблюдает лишь своё незамутнённое изображение. И если существует в мире чудо, вот оно чудо: слилась душа с душой!

Лейли сама *«одержима пуще Меджнуна»*, она хорошо осознаёт разницу между женой по закону Ибн Саламом и беззаконной любовью – Меджнуном: *«Сей – слепок суеты обыкновенной! Тот – весь в стихии радостей духовных!»*

Итог, которого нет

Меджнун всюду натывается на образ Друга: *«И в забытьи безумном то и дело, Хватая змей за вьющееся тело, Шептал: «Вот кудри любой и желанной, Вот пара кос... Вот дар благоуханный»*, а когда вдалеке лекарь совершает кровопускание Лейли – одновременно кровь проступает и у него. И когда умирает Ибн Салам, и верблюд доставляет свободную девушку к Другу, когда колесо фортуны, достигнув предела, готово развернуться в обратную сторону, то для Меджнуна всё это лишь никчемная блажь, он уже покинул гнездо, и, как высокая птица, распростёр широкие крылья: *«Я наслаждаюсь красотой любимой В полёте духа, а не плотью зримой»*. В горних высотах *«истинная страсть бескорыстна и чиста!»*

«Вершу я движенье фортуны как надо», – даже Физули потрясён взбунтовавшимся воображаемым героем, не желающим подчиняться авторскому замыслу! И восхищённая Лейли шепчет вслед улетающей грёзе: *«Я проверяла степень восхожденья Твоей души, и дум, и убежденья! Я поняла, каков ты, где ты ныне... Хвала тобой достигнутой вершине!»* После этого влюблённым в этом мире делать нечего.

Красота тоже дар Аллаха, и дар ненапрасный. Цветущая плоть блекнет, но чувства, которые она рождает, не подвластны времени. После Низами и его переписчиков уже невозможно любить человека, если в нём не обнаруживается хоть толика духовности. И это не итог. Потому что Меджнун и смерть Лейли принимает как новое испытание, а вслед за Меджнуном и к нам предъявляется требование соразмерного шага.

ТОФИК АГАЕВ

У звезды похитить свет

ДИСТИХ

**Зачем мыслить одномоментно,
Если можешь инопланетно.**

**Подобно Земли вращению –
Мысли кровообращение.**

**Величавое – это тайна,
Рождается как бы случайно.**

**Каждый шагает не вверх по дороге,
Ищет звезду свою, глядя под ноги.**

**Если жить на усмотрение глаз,
Розовым мир предстанет не раз.**

**Жизнь была задорная,
Стала мониторная.**

**Никто из нас не вечен,
Хоть будет кентовричен.**

**Запутываться – наш удел
В паутине срочных дел.**

**Слезой последней цветок ороси,
Покамест Земля скрипит на оси.**

**Скорей поднимите мне веки:
Где солнечные человеки?**

**Пусть ловят поэты сами
День уходящий стихами.**

**Поэтический завет:
У звезды похитить свет.**

**Когда-то, в кои веки,
Моря впадали в реки.**

**От счастья или горя
Мокрые слезы у моря?**

**Живая штука –
Сердца полстучка.**

**Без огня или с огнем,
Счастье видеть звезды днем.**

**Не верит Сезам
Горючим слезам.**

**Играй свою роль, пока срок не минет,
Никто у тебя ее не отнимет.**

**Как с клюва птицы слетело,
Чтоб слово звучало, пело.**



ZAUR

Однажды в Риме

(Альтернативная история)

Жил-был как-то в Риме император Вителлий¹.

Собственно, это был уже четвертый император за год. Сначала, в 68-м году, убили Нерона (ну, или он сам себя). А потом Гальбу. А потом Отона. Ну очень опасная профессия.

Но претендентов на трон это не смущало. Они лезли туда, как мухи на липучку. Зарплата хорошая, самое главное, соцпакет и премии ежеквартальные. А что потом, их вообще не волновало.

В первую очередь Вителлий любил пожрать. У него на пирах подавали жареных павлинов, соловьиные язычки и доставляли снег с Альп – замешивали с медом. Повара от усталости в обморок падали, а его величество сидит и знай себе наворачивает. Всего за год августейший истратил на еду 900 миллионов сестерциев.

«А сколько это к доллару?» – спрашивали недовольные расходами римляне. «А Юпитер его знает! – отвечал им Вителлий. – Жалко вам, что ли, для благодетеля вашего?..»

Придя к власти, Вителлий первым делом уничтожил всех своих кредиторов (в чем его горячо поддержали бы жители, например, Российской Федешрации).

«А то уже задолбали своей ипотекой, – объяснял он консулам и трибунам. – И потребительский кредит им тоже отдай, причем с дикими процентами. Коллекторы без конца приезжают на тройках с бубенцами, пишут во дворце на стенах: «Отдай сестерции, сука!..» Пущай они все сдохнут».

И как-то понравилось ему это дело – народ уничтожать. И вслед за кредиторами он перебил поголовно астрологов, чтобы не предсказывали фигню.

И очень ему это понравилось. Например, однажды он велел казнить человека, который просто с ним поздоровался. «За что?!» – искренне удивился казнимый.

«А не фиг вот тут», – доходчиво объяснил Вителлий.

«Ну, так бы и сказал, – ответил тот, опуская голову под топор. – Слава цезарю!..»

А еще он казнил свою мать. Ибо разогнанные астрологи предсказали, что та переживет императора.

«Извини, мамуль, – сказал Вителлий, угощая маму вином с ядом. – Мне хочется еще поцарствовать, а ты весь кайф ломаешь. Помри скорее, только вот завещание на свой дворец подпиши. Тебе ж не жалко?»

Современники описывают императора как существо огромного роста и с громадным же животом. Бухать он начинал с раннего утра и заканчивал ночью.

¹ Древнеримский император, правивший с 17 апреля по 22 декабря 69 года, когда был убит. Один из правителей «года четырех императоров», в течение которого на престоле сменилось четыре императора: Гальба, Отон, Вителлий и Веспасиан.

«С лица не воду пить, – утверждал цезарь. – А кому не нравится, тех сейчас же казню. Придурки».

Однако вскоре против Вителлия восстал полководец Веспасиан. Он в то время пребывал в Иудее, и посему Вителлий попытался списать все на происки сионизма и масонский заговор, но ввиду отсутствия телевидения это не прошло.

Веспасиан предложил Вителлию жизнь и 100 миллионов сестерциев.

«Да это ж только на месяц гурманской жратвы, – буркнул Вителлий. – А дальше чего, в Макдональдс идти? Вам бы у фашистов служить». Однако согласился.

Но тут возмутились его солдаты: «Горой мы за тебя, цезарь, – кричали они. – Любим тебя, как есть, любим. А на сто миллионов ты с голоду помрешь, и не видать тебе соловьиных язычков, как своих ушей – будешь на «Дошираке» сидеть всю жизнь».

Император послушал их и отказался от предложения.

И тогда Веспасиан вошел в Рим.

«Держите узурпатора! – закричали верные Вителлию солдаты. – Эвон он, собака, заставлял нас воевать, подлый тиран! Хватайте вон того уroda в золотом венке, мы его вообще не знаем!.. Отсыпь же нам поскорее бабла, славный Веспасиан, ты ж только что сто миллионов сестерциев сэкономил!»

Вителлия провели по лестнице, заставляя регулярно поднимать вверх голову, чтобы жителям Рима было удобнее плевать ему в лицо. Его избивали, бросали в него нечистоты и фантики от сырков «Дружба». Особенно усердствовал один его подчиненный трибун.

«А я ведь был твоим императором», – сказал ему Вителлий.

«Да вас тут как собак нерезаных, – честно сообщил подчиненный. – Четвертое начальство за год, слуханое ли дело?.. И что, всем верность соблюдать? Заколёбься». И – отрубил Вителлию голову.

Добрый римский народ носил ее по Риму и кричал «Ура!»

Правил же бедняга Вителлий всего-то с апреля по декабрь 69 года. Тогда же заодно казнили его брата и сына.

«За что?!» – вскричали те.

«За компанию», – объяснили им флегматичные римляне.

Мораль всего сказанного такова: не соглашайтесь на первую высокооплачиваемую работу. Хрен знает, что там за условия...
